



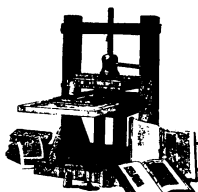
ВОЛЬНОЕ
КНИГО-
ПЕЧАТА-
НИЕ

Дмитрий Быков
Вторая смерть

ДМИТРИЙ
БЫКОВ
ВТОРАЯ
СМЕРТЬ
Книга стихов

ASL
КНИЖИ

КНИГА
ספר



**ВОЛЬНОЕ
КНИГО-
ПЕЧАТА-
НИЕ**

*“Дома нет места свободной русской речи,
она может раздаваться инде,
если только ее время пришло.*

*Открытая, вольная речь — великое дело;
без вольной речи — нет вольного человека.*

*Недаром за нее люди дают жизнь,
оставляют отечество, бросают достояние.*

*Открытое слово — торжественное
признание, переход в действие.*

*Время печатать по-русски вне России,
кажется нам, пришло”.*

ИСКАНДЕР (АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН)

Лондон, 21 февраля 1853.

ДМИТРИЙ
БЫКОВ
ВТОРАЯ
СМЕРТЬ
КНИГА СТИХОВ

КНИГА
ספר

Израиль

2022

Содержание

Новые стихи

11

Книга вымышленных городов

83

Старые стихи

109

Беспредельщица

171

*Стихотворения без дат написаны
в 2021–2022 годах*



Не надо думать в светлые времена,
Что человек похож на бокал вина,
Пьянящ и сладок, и на просвет рубинов.
Не надо думать в темные времена,
Что человек похож на кусок говна,
Что мир состоит из трусов и хунвейбинов.

Мне интересны шаткость, негладкость, сдвиг,
Поиск путей извилистых, объездных,
Зыбкость намека, прихоти ассонанса.
Мне интересней контур, чем колорит,
Мне интересней думать, чем говорить,
Мне интересней ехать, чем оставаться.

В людях занятен именно тонкий слой
Ненависти – на добром, когда он злой,
Сметки на дура, искренности на блуде,
Только слиянье глупости и ума,
Жизни и смерти, амброзии и дерьма,
Бога и атеиста в одном сосуде.

Синтез разломов. Или – еще теплей –
В войне – кровожадности и соплей,
В бабах – самоотверженности и блядства,
Прелесть пропорций, которые задал Бог:
Тридцать процентов рая, чтоб мир не сдох,
Семьдесят – ада, чтобы не расслабляться.

Наш биовид – не плоскость, а сложноразвет,
Божий компьютер квантовый, да и нет
В каждой секунде, не выбор из двух, а синтез.
Тем же, кому противен мой сложный нрав,
Я отвечаю: прав я или не прав –
Господу интересно. А вы подвиньтесь.

НОВЫЕ СТИХИ



В искупление своих довоенных грешков —
О невинная шалость! —
Каждый выдал по сотне слезливых стишков,
Упирая на жалость,
Хор девиц голосил, провожая дружков,
Толпы беженцев шли, умоляя божков,
Для героев уже не хватало мешков,
Но война продолжалась.

Цифрой в десять нулей обернулся урон,
Производство ужалось,
Не осталось людей у обеих сторон,
Несмотря на державность,
Вместо неба колышется туча ворон,
Не осталось селения без похорон,
В неоплаченный отпуск просился Харон,
Но война продолжалась.

По полям расплылась первобытная грязь
И болотная ржавость,
Не рулила ничем озверевшая власть,
Пол-орды разбежалось,
Раскалился процессор, обрушена связь,
Застрелился профессор, кухарка спилась,
Надорвался агрессор, и жертва сдалась,
Но война продолжалась.

Черно-белое, глухо-немое кино,
Без героев и жанров.
Не осталось вообще ничего, никого,
Но война продолжалась.
То с вершины ледовую шапку смело,
То уходит под землю пустое село...
Потому что она тут была до всего,
И она продолжалась.

Потому что мы все для нее рождены,
Чтобы лопала бездна,
У нее ни конца, ни венца, ни цены,
И она безвозмездна;
Для нее отделяется муж от жены,
Свет от тьмы, род от рода, страна от страны,
Твердь от вод, плоть от духа, — но мир от войны
Отделять бесполезно.



При встрече с чистым злом не то, чтобы робею —
В мои полсотни лет
Смешно уже робеть российскому еврею, —
Но аргументов нет.

Ни хлесткой ругани, ни пламенной сатиры —
И это странно мне:
Ведь репутация нахала и задиры
Заслужена вполне.

При встрече с чистым злом я несколько теряюсь,
Поскольку, как дурак,
Понять его хочу, назвать его стараюсь,
Но надо же не так.

При встрече с чистым злом пейзажину пристало
Не звать других пейзажан,
Не разводить базар, а сразу бить в ебало,
Как Гамлет доказал.

ПАМЯТИ БЕЛЛЯ

К столетию

Настанет день — и ветераны
Станут за одним столом
Припоминать, как их тираны
Гнали в драку с двух сторон.

Я знаю: только пацифиста
К ним за стол не позовут.
Чего ты, скажут, прицепился?
Обойдемся без зануд.

Для нас Отчизна — *uber alles*,
Два титана, две орды,
Но нынче мы навоевались,
Наигрались и горды.

Хоть вы дрались, как леопарды,
Но и мы дрались, как львы,
И если вы неправы, падлы, —
Мы солдаты, как и вы.

Герои мы, и вы герои,
Кто напал — вопрос второй,
Теперь плевать, как после Трои,
Кто там более герой.

Они обнимутся в застолье,
Их сплотит любовь к войне,
В сравненье с коей все пустое,
Ну, и ненависть ко мне.

Солдат не любит пацифиста,
Тилигента в стиле русс:

Мне будет к ним не подступиться,
Я тем более не рвусь.

И я боюсь, что, умирая,
Не войду ни в рай, ни в ад —
Я слишком холоден для рая,
А для ада скучноват.

И лишь в чистилище, пожалуй,
Я нашел бы идеал —
Господь на всякий, на пожарный
Для себя его ваял.

Там пастырь стада, сборщик кофе
И с мотыгой феллах,
Христос, распятый на Голгофе,
Рядом Будда и Аллах —
И все вообще крутые профи
В увлекательных делах.

А рай и ад — кругов по девять —
Заняла святая рать,
Что лишь одно умеет делать —
Убивать и умирать.

2017



Нет, не на честных и подлых делятся люди живые:
Есть поселенья оседлых,
Есть племена кочевые.
Мы же из горьких, из третьих,
Чуждых окрестному люду:
Только теперь рассмотреть их время, когда они всюду.

Прежде мы жили оседло, но из пустыни на город
Ринулось черное кодро, выгнало в холод и голод —
И побрело по дорогам в сумраке сером и сиром
Племя оставленных Богом и вытесняемых миром:
Беженцы! Сколько их ныне! Пыльные их вереницы
Прут по дорогам Волыни, Кракова и Катовицы.
Племя лишившихся крова, всех, кто в убожестве хижин
Мнил, что рожден для другого, а оказался унижен,
А оказался бредущим по продуваемым чащам,
По облетающим кущам
В виде своем настоящем.

Плачемся новым соседям на монотонные нужды.
Странникам и домоседам мы одинаково чужды.
Бродим, незваные гости, в вечном позоре изгнанья,
В прахе, парше и коросте. Что же, не знал я? Да знал я.
Правила кармы коварны. Ветер грядущего режущ.
Сыну ли эвакуантки веровать в прочность убежищ?
Вот они, деды и внуки в дреме ночного вокзала:
Всех предвкушением муки новая участь связала.
В детстве бежал от фашиста, старцем бежит от рашиста —
То ли в программе ошибка, то ли в сознанье прошивка.

Выстелись, стань незаметен — всех эта участь догонит.
Ветер, продымленный ветер, ветер огней и агоний,
Новым прикрывшийся измом, гонит со свистом и визгом
Всех, кто единожды избран, всех, кто единожды изгнан.

Вырастут новые внуки, выруют новые норки,
Их под обстрелы и вьюги выгонят новые орки.
Сколь ни лепи себе кома, сколь ни копи себе долга,
Сколько ни строй себе дома — все это так ненадолго!

То-то я так и на месте, чувствуя странную радость
В мире без цели и лести, в мире, где некуда падать —
В сиплом дыхании жалком душной толпы в Перемышле,
Спящей вповалку по лавкам
В том же, в чем из дому вышли.

ВТОРАЯ СМЕРТЬ

Дай оглянись!

А. С. П.

Жизнь — это стыд. За нее не держись.
Мало в ней было щедрот. Но в конце ведь
Будешь и эту оплакивать жизнь.
Дай оглянись, чтоб ее обесценить.

Дай мне вернуться с твоей проходной.
В реанимации час уворую.
Чувствую, мало мне смерти одной —
Надо вторую.

После-то смерти, с ее высоты,
Так это выглядит тускло и скудно —
Мутные окна, нагие кусты,
Грязные склянки, палата и судно!

Так и в кино настоящий маньяк
Не убивается с первого раза,
А в результате изысканных драк
Прежде лишится руки или глаза.

Или отъезд из насиженных мест,
Даже когда оснований в избытке —
Мало ли, занавес, пытки, арест, —
Лучше устроить не с первой попытки.

Как бы отлично вернуться на час
В эти осенние многоэтажки,
Глянуть, насколько все так же без нас
(Странно, кому-то казалось — не так же),

Просто взглянуть, как стучается снег
Из удушающей злобы предзимней, —
Часа хватило бы ринуться в бег,
Плюнув на родины голос призывный.

Дай оглянуться на черный провал —
Страх, невзаимность, мольбы о пощаде...
Что, вот по этому я тосковал?
Ну тебя к черту. Прощайте, прощайте.

Фокус, мне кажется, именно в том,
Что после смерти, о чем ни базарьте,
Помыслы, родина, улица, дом —
Тают в цене, как товар при возврате,

Как довоенные после войны
Мелочи: куртка, записка, повестка...
Неотменимое чувство вины
Тоже куда-то уйдет наконец-то.

Дай мне увидеть работу, скандал,
Свалку, стукачку, получку, девчонку:
Господи, что, я по этой страдал
Жизни и родине? Ну ее к черту.

Я изменился, а все это — нет.
Так же за стенкой скрипит раскладушка.
Верю: вернусь через тысячу лет —
Тот же сосед мне кивнет равнодушно.

Тот же подросток — как есть, целиком,
В сланцах иль берцах, с поправкой на климат,
Разве что будет его телефон
Несколько более, сука, продвинут.

Жизни, пожалуй, мне хватит одной.
Смерти взыскую второй. А за нею —
Что-то иное, и мир не родной.
Чувствую это, как свет за стеной,
Новая родина с новой виной —
Но разглядеть их покуда не смею.



Говорят для приличья, что Родина — мать.
Наша Родина — матка.
И пока ты не склонен ее донимать —
Вам уютно и сладко.
Если ж ей надоело тебя обнимать —
Это первая схватка.

Потому-то с цикличностью в несколько лет
Череда мальчуганов
И девиц — покидает сырой полусвет
Между двух океанов.
Это значит, что время рождаться на свет,
Оторвавшись, отпрянув, —
Удирать, волоча за собою послед
В виде двух чемоданов.

Их встречает толпа ветеранов горшка,
Потребителей каши:
И в Отечестве русская доля тяжка,
И в изгнанье не краше.
И толкают, и щиплются исподтишка —
Мол, помучайся с наше!

Но терпенье. Устроена жизнь хорошо.
За полгода привычкой сменяется шок,
И младенец плешивый
Получает бутылочку, соску, горшок
И коробку с машиной,
И молочную смесь, и постельный режим,
И пеленку из ситца —
То есть все, что рожденный себе заслужил,
Выбирая родиться.

Иногда ностальгия накроет, грызя.
Во хмелю разгрустишься.

Но вернуться в утробу живому нельзя —
Разве только частично.
Не дивись же, что эта счастливая часть,
Одержима страстями,
Обретает порою особую власть
Над другими частями.

Разумеется, в мире хватает зверей
И ужасные нравы,
Так что следуя логике темной своей —
Нерожденные правы.
Но посмотришь порой в глубину, в вышину,
На жену и на сына —
И подумаешь: нет. И промолвишь: да ну.
И добавишь: спасибо.

...Так земля тебя носит, пока не дорос,
А глядишь — переносит,
И с поверхности сбросит тебя, как отброс,
И совета не спросит —
В непроглядную ночь, беспросветную тьму
Меж созвездий косматых,
Где ты точно не нужен уже никому —
Даже меньше, чем в Штатах.

А уж там гомонят инвалиды ярма,
Ветераны парашаи —
Подыши безвоздушьем, понюхай дерьма
И помучайся с наше!
У тебя после смерти всего ничего,
А у них годовщина.
Матерщина покойников. Их большинство,
И у них дедовщина.

Но терпенье. Устроена смерть хорошо.
За полгода привычкой сменяется шок,
И покойник плешивый

Получает поминки, надгробный стишок
И веночек фальшивый.
А пристойная память, а место в строю,
А на холмике глыба?
Как сравнишь с нерожденными долю свою,
То и скажешь: спасибо.

Иногда — ностальгия. Нельзя же пропасть,
Навсегда умолкая.
И тогда непонятная, тайная часть —
Неизвестно какая,
То ли это душа, то ли память о ней,
То ли красная точка,
Что всего незаметней, темней и странней,
Но имеется точно, —
Приникает к любимым, по ветру скользя,
И целует неслышно,
Потому что обратно в утробу нельзя,
Но частично, частично...

И не диво, что эта секретная часть
Меж гнильем и костями
Получает при жизни особую власть
Над другими частями.

A BALLAD OF NO LAMENTS

Ахматова — чья лира год за годом
Все тяжелела от кровавых тем, —
Была, конечно, со своим народом,
Но не гордилась, а казнилась тем.
Я вовсе не горжусь своим исходом, —
Его и не заметит большинство, —
Но сроду не был со своим народом,
И то не мой был выбор, а его.
Не то, чтоб только в нынешнем году, мол,
Я близко разглядел его оскал, —
Конечно, сам бы я еще подумал,
Но он меня к себе не подпускал.

Я не был никогда с моим народом.
Я не считал себя его приплодом,
Его лицом, его говнопроводом,
Одной из миллионов микросхем.
Я для него моральным был уродом,
Он для меня — абстракцией, никем.

Изгойство вообще большое счастье.
Привычка к стойлу — уровень скотов.
Когда все это начало кончаться,
Я был готов. Я был всегда готов.
И переход на новое наречье
Нетруден мне на новом берегу.
Язык — не враг мой, но его беречь я
Не призван. И уже не берегу.

It's not a trick — translating into English.
I am well-trained, you see, in any kind
Of searching rhymes. You always can distinguish
My speech from native's one; but never mind.

I never felt myself a son of people,
Of motherland or nation, land or race.
I never used to suck its dirty nipple.
For most of it I used to be a cripple.
For me it used to be a hollow place.

Aksyonov called my land “A stinky lady”.
A hairy lady, lady with a beard.
It wasn’t very strong and very steady.
And when it crushed itself — well, I was ready.
I was accustomed. Calm like Colin Firth.
I wasn’t shocked. I even wasn’t despaired.

What metaphor, what symbol can be found
For you to understand the whole thing?
Imagine you a merry-go-round,
But desolated, closed till the spring.
The wooden horses, worn and tired after
Hot season, still remember childish laughter;
This dying world is so quiet and gentle,
So sad and lightened like a sunny rain.
God bless you, helpless sadness! And again,
Again afraid of being sentimental,
I call my independence — but in vain.
Sly like insane and sensitive like hound,
I feel the Earth itself with all its mess,
With all its mass — the merry-go-round:
Not very merry, yes, but stopping, yes.

The drying grass, “grass harp”, described by Truman
Capote, whispers softly in the yard.
Where is this kind and funny old woman,
Who rang the bell and pushed the button “Start”?
Will she survive the winter? What about
My own soul: may it be restored?
I’d like to cry, I’d like to weep and shout,
But will not say aloud a single word.

How can you stop the stopping of rotation?
Vacation ended if it was vacation;
We see the threshold, door with no key.
Sometimes you can do nothing. That's OK.

Hence there is grief without consolation.
It can't be cured by tenderness or art.
It's clear enough for European or Asian
But not for active local population —
Attractive, enterprising, cute and smart.
You can't correct the God's determination,
Whether it pleases you or tears your heart:
You cannot save the most hated nation
In which you were the most hated part.

ПАМЯТИ ГУССЕРЛЯ

1

С годами пишется все суше,
Но также и мертвей.
Все меньше всякой этой чуши —
Людей, зверей, ветвей.

Бог остается, если вычешь
(Редукции учась)
Людей приличных пару тысяч
И прочую матчасть.

Убрать бессмысленные схватки,
Надежду, совесть, месть...
А что в осадке, что в остатке —
Поэзия и есть.

Ища среди топота и ржання
Божественную нить,
Довольно вычешь содержание
И форму упразднить.

И пусть останется негусто,
Но мир пора давно
Делить на чистое искусство
И чистое говно.

2

Хайдеггер уволил Гуссерля,
Не объяснившись тет-а-тет.
Он чистил, так сказать, от мусора
Арийский университет.

Я часто представляю Гуссерля,
Как он идет к себе домой,
И солнце катится, как бусина,
И все цветет, поскольку май.

Его талант педагогический
Враждебен духу новых лет.
Его феноменологической
Редукции места больше нет.

Его удел теперь — обструкция,
И вот он думает, грустя,
Что всем вокруг его редукция
Казалась сложной, хоть проста.

Мир гол. Видна его конструкция.
И если кто-то позовет
И спросит: “В чем твоя редукция?” —
Ответить можно бы: да вот.

Во времена тирана-клована
Она как постижение дна
Не может быть рекомендована,
Но безусловно не вредна.

Феноменологическая редукция
Вот это самое и есть,
И прежде чем шагнуть в грядущее,
Ее не худо произвестъ.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

В апреле, пасмурным теплым днем
Пью кофе. Рядом ломают дом.
В нем год как пусто. Во мне — как в нем.
Я начинаю новую жизнь.

Она наступает исподтишка.
Еще не решился — она уже.
Старую бросишь в виде мешка.
Она начинает новую жизнь.

Распалась на атомы и слова,
Что безмятежно на свалке спят.
Могу поверить — она нова.
Любому целому нов распад.

Моя же новая жизнь полна
Былых привычек, былых обид,
Как в Ялте сором полна волна,
Как лишней памятью мозг избит.

Я начинаю новую жизнь,
Полную матриц и мертвецов,
Прокариотов и праотцов,
Компатриотов и беглецов.

Я начинаю новую жизнь,
Я приношу туда злость и месть,
Страх остаться, попытку слезть,
Все, что будет, и все, что есть.

Я начинаю новую жизнь.
Я волоку в нее тяжкий груз.
Я под прицелами стольких глаз,
Что не меняю ни фраз, ни уз:

Только линияю, как старый волк,
Возненавидевший свой окрас,
И не знаю, какой мне толк
Делать это в десятый раз.

Я упираюсь в старую жесьь,
Я выживаю, но не сдаюсь,
Я отрясаю старую шерсть
И начинаю новую смерть.

Но открываю глаза с трудом —
И понимаю: ломают дом.
Плачу по счету, делаю вдох
И начинаю новую жизнь.

Выросший Цельсий. Тихий буфет.
Серый, апрельский, пасмурный свет
Может, я смог бы ее начать,
Сказав вслух, что ее нет.

2015



Недолгий гость, ценитель пришлый,
На всякий вид, любой пустяк
Привык смотреть я как бы трижды:
Так, сяк и еще вот так.

Вот дождь и мокрая веранда,
Гроза апрельская прошла.
И луч проклюнулся, и ладно —
Я здесь, и жизнь еще прочна.

Второй же взгляд — всегда из бездны,
Куда стремится жизнь моя.
Всегда железны, всегда изрезаны,
Всегда облезлы ее края.

Всегда соседствовали с раем
Вокзал, изгнание, развал...
Что ж, мы не знаем? Все мы знаем.
Еще не жил, а это знал.

Как тот, кто страдает высшей мукой,
В несчастье помня счастья дрожь, —
Из зыбкой старости безрукой
Смотрю на двери, ветви, дождь.

Взгляд отвращения и упрашиванья,
Каким на небо смотрит дно,
Всегда его и прихорашивая,
И ненавидя заодно.

А третий взгляд — как бы выныривая
Из унижений и пустот,
И мир, как музыка виниловая,
Вернется тот же, но не тот.

На капель топот, листьев шепот,
На все, что дышит и дрожит, —
Смотрю теперь сквозь адский опыт,
Что в полсекунды пережит.

Ни вечных слов, ни вечных звезд нет.
Есть вечной глины вечный пласт.
Чуть отлучишься — все исчезнет,
Чуть отвернешься — все предаст.

Прости мою тревогу, юность.
Я на тебя смотрю, жена,
Как будто ты ушла, вернулась,
И предала,
И прощена.

Все эти склейки так монтажны,
Так незаметны, так просты...
На жизнь смотрю я точно так же.
Она прощает, как и ты.



В прохладных весенних хоромах
Любовные стоны лягух,
Влагалищный запах черемух,
Рябины подмышечный дух,
Пыхтение дачных соитий,
Дождя полуночного спрей,
Все то, чего нету избитей,
Но нет и не будет острей.

Вот — Родина. Нечто сырое,
Утроба, гробы и грибы,
Как писк комариного роя,
Умильной вампирьей мольбы.
Гнилушечный свет над болотом,
Туманы, роса и ботва —
Враждебное всяким полетам
Ползучее чувство родства.

Все запахи дали и воли
Тебе не заменят, не рвись,
Интимнейшей, сладостной вони,
Окугавшей склизкую близь.
Закат в заболоченных чащах,
Деревни Кащя тощей,
Засилье нежнейших, горчайших
И самых вонючих вещей.



Проклятая меньшая сестра,
Выбравшая волю молодица,
Зеркало к России поднесла,
И Россия, словно приросла,
В это зеркало глядится.

Родина Горыни и Днестра,
Правая рука твоя, Расея, —
Зеркало убийцам поднесла,
Как Медузе щит Персея.

Зеркало, предмет на букву Ze,
Зеркало увечья и безбрачья,
Голова в похмелье и шизе —
Зэкова, овечья и палачья.

И не скажет бывшая сестра,
Наше отраженье тыча в рыло, —
То ли это маска приросла,
То ли так оно и было.

Злее всех вооруженных сил
Зеркало безумья и бессилья:
Мир взглянул — и то заголосил.
Мир вопит. Но не Россия.

Это нам изгойство и вина,
Это мы стыдом пылаем,
А она невинна и темна.
То ли камнем сделалась она,
То ль давно уже была им.

И не может бывшая сестра,
Уступая по масштабу,

Пробудить от каменного сна
Эту каменную бабу.

Щит Афины, чудо ремесла,
К ворогу приблизив до предела,
Зеркало России поднесла.

Но оно не запотело.



Быть русским не стыднее, чем живым.
У жизни вообще лицо садиста
С оскалом волчьим, взглядом ножевым.
Не надо нас уж очень-то стыдить-то.

Ведь правда — как-то стыдно быть в живых
И после той войны, и после Бучи,
И в этом смысле мы, конечно, жмых,
Полова, прах... Но ведь и вы не лучше.

Тем более в умении свои
Расчесывать запекшиеся язвы
Нам равных нет среди мировой семьи,
В чем убеждались, кажется, не раз вы.

Мы будем изживать свой новый грех
И струпья демонстрировать свои же,
Крича: мы ниже вас! Мы хуже всех!
Вы лучше вас! Мы ниже!

Мы будем унижаться до конца,
Настаивать, что стая мы и свора,
Клеймя народ прозваньем подлеца,
А власть — гибридом киллера и вора.

Пора понять, что данников Москвы
Опасно ставить в позу Магдалины
И загонять в истерику: увы,
На этом поле мы неодолимы.

У нас от этой позы — шаг один
До упоенья мщеньем самым подлым.
Сперва мы вам натешиться дадим,
Но после все припомним.

Наслушавшись, как страстно мы визжим,
Одежды разрывая осторожно,
Вы несколько ослабите зажим
И скажете: да ладно, сколько можно.

Что по лицу размазывать золу?
Уж Бог бы с вами, с вашим государем...
Утрите слезы, просим вас к столу...

Вот тут-то мы и вдарим.



Мне не жалко добрых — что жалеть добрых?
Мне жалко злых.
Призывает жалость на себе подобных
Грешный мой язык.

Жалко мне собаку, что на всех лает,
Видя в том долг,
Покуда ей навстречу вдруг не выбегает,
Например, волк.

Жалко, когда плачет “Я больше не буду!”
Форменный Ваал.
Я не знал Франциска, не встречал Будду,
А таких знавал.

Жалко атамана, что шайкою брошен,
Черного линкора, что пошел на слом,
Жалко зла, столкнувшегося с большим,
Много большим злом.

Помнится, работал я в одной газете,
Был такой грех.
Там была старуха злобная в буфете,
Орала на всех.

Не так поднос держишь, не так посуду ставишь...
Задуматься — цирк!
Помню, спросишь: бабка, что ты меня травишь?
Она в ответ зырк!

Газета закрылась, въехала контора,
Не славная ничем.
Зайти туда по делу случилось нескоро.
Ну, думаю, поем.

Буфет сохранился, столики в зале,
Но больше не цирк:
Ужасные люди с плоскими глазами —
Олово, цинк.

Бабка подходит, узнает, плачет,
Ставит винегрет:
— Радость-то какая, вспомнили, значит!
Прежних же нет...

Что ж вы забыли, давно не приходили?
Стала я квашня.
Были тут люди, стали крокодилы... —
Разнылась, отошла.

Добрых мне не жалко, мне жалко злобных,
Крутых, пробивных,
Которые привыкли дразнить себе подобных,
А вляпались в иных.

Жалко мне наглых в минуту их страха,
(Не скажу — вины).
Жалко мне гордых в минуту их краха.
Мы теперь равны.

Мы теперь в обнимку пред лицом ада,
Позабыв стыд,
Лепечем, трепещем, говорим “Не надо”,
Но кто же нас простит?

СЧАСТЬЕ

1

Старое, а в чем-то новое чувство начала февраля,
Небо серое, потом лиловое, крупный снег идет из фонаря.

Но ясно по наклону почерка, что все пошло за перевал,
Напор ослаб, завод кончился, я пережил, перезимовал.

Лети, снег, лети, вода замерзшая, посвети, фонарь, позолоти.
Все еще нахмурено, наморщено, но худшее уже позади.

И сколько ни выпади, ни вытеки — все равно сроки истекли.
(Я вам клянусь: никакой политики, это пейзажные стихи).

Лети, щекочущее крошево, гладь лицо, касайся волос.
Ты слышишь — все кончено, все кончено,
отпраздновалось, надорвалось.

Прощай, я пережил тебя, прости меня, все было так бело и черно,
Я прожил тут самое противное и вел себя, в общем, ничего.

Снег, снег, в сумятицу спушись твою, пройдуся, покуда все еще спят,
И главное, я чувствую, чувствую, как моя жизнь пошла на спад.

Теперь бы и жить, чего проще-то, довольно я ждал и горевал —
Но ясно по наклону почерка, что все идет за перевал.

Кружится блестящее, плавное, подобное веретену.
При мне свершилось тайное, главное, до явного я не дотяну.

Бессонница. Ночь фиолетова. Но я еще наплююсь, наплююсь.
Все вверх пойдет от снегопада этого, а жизнь моя на спуск, на спуск.

Нравится мне это испытание на разрыв души моей самой.
Нравится мне это сочетание, нравится до дрожи, Боже мой.

2

Но почему-то очень часто в припадке хмурого родства
Мне видится как образ счастья твой мокрый пригород, Москва.
Дождливый вечер, вечно осень, дворы в окурках и листве,
Уютно очень, грязно очень, спокойно очень, как во сне.
Люблю названья этих станций, их креозотный, теплый чад —
В них нету ветра дальних странствий, они наречьями звучат,
Подобьем облака ночного объаяв бессонную Москву:
Как вы живете? Одинцово, бескудниково я живу.
Поток натруженного люда и безысходного труда,
И рухнуть некуда оттуда, и не подняться никуда.
Нахлынет сон, и веки тяжки, и руки — только покажи
Дворы, дожди, пятиэтажки, пятиэтажки, гаражи.
Ведь счастье — для души и тела — не в переменах и езде,
А в чувстве полноты, предела, и это чувство тут везде.

Отходит с криком электричка, уносит музыку свою:
Сегодня пятница, отлично, два дня покоя, как в раю,
Толпа проходит молчаливо, стук замирает вдалеке,
Темнеет, можно выпить пива в пристанционном кабаке,
Размякнуть, сбросить груз недели, в тепло туманное войти —
Все на границе, на пределе, в полуживотном забытьи;
И дождь идет такой смиренный, и мир так тускло озарен —
Каким манком, какой сиреной меня заманивает он?
Все неприютно, некрасиво, неприбрано, несправедливо,
ни холодно, ни горячо,
Погода дрянь, дрянное пиво, а счастье подлинное, чо.

3

Ночь июля с запахом самшита ядовита и душна,
хоть обширно звездами расшита черная ее мошна.

Ночи августа того страшнее, обреченные уже,
Смутные, как разговор в траншее на последнем рубеже.

Ночь — как смерть, заметить все успели, а в моем краю вдвойне.
Осенью, зимой — как смерть в постели, летом — словно на войне.

Летней ночью всякий раз тревога, всех предчувствия томят —
Будто утром всем лежит дорога с вещмешком в военкомат.

И страшней всего перед рассветом: совесть, паника, вина...
Жизнь у нас возможна разве летом, и любая жизнь — война.

А люблю я только ночь июня, занавески, лепестки.
Эта ночь светла без полнолуныя и тревожна без тоски.

Этой ночи воздух не казармен: утром, чуть глаза раскрой,
Не на фронт пойдешь, а на экзамен или вечер выпускной!

Свежих листьев свежее смятенье, спешка ветра, жажда цвель,
Неба серебристое свечение, словно в небе что-то есть.

Тени на обоях, рябь на луже, дальний поезд, креозот...
Умереть во сне — чего бы лучше! Но не всем же так везет.

Влажный шум блаженный, запах сложный, пота бисер просяной —
Словно сон красавицы тревожный под легчайшей простыней.

Верить в то, что все не втуне,
И что все припомнится потом, —
Можно пару раз в июне.
А уже в июле — моветон.

Из цикла “Невольные переводы”*

1. ИЗ РАФАЭЛЯ АЛЬБЕРТИ

По слову китайского гения, диктатора и вруна,
У каждого поколения должна быть своя война.

Гражданской войны мы жаждали четыре десятка лет —
Но так как отсутствуют граждане, гражданской войны и нет.

Ведь ежели каждый с каждым сцепляется за свое —
То это еще не граждане, а, можно сказать, сырье.

Зато в наличие Отечество — к тому же в виде таком,
Который уже не лечится ни правом, ни языком.

Приходится нам — отмеченным, заметить не премину, —
Вести со своим Отечеством отечественную войну.

Отечество нам выковывает отечественная война.
Оно себя отвоевывает у черного колдуна.

Мы видим, как плоть калечится, мы слышим пушечный вой
С Отечеством за Отечество сражаться нам не впервой.

Отечество ищет повода для казни говоруна —
И выглядит очень молодо: его молодит война.

Шпионят друзья и недруги, причем с обеих сторон.
Шпионов внедряем в недра мы. Я сам за собой шпион.

...Я вижу зари предтеченской кроваво-красную щель.
Смерть на войне Отечественной слаще любой вообще.

* От автора. В свое время, чтобы напечатать эти стихи, автору надо было их выдать за переводы. Но думаю, поэты бы не обиделись.

Чтоб выстлать дорогу скатертью захватчику и клещу.
Чтоб мачеха стала матерью, которой я все прощу.

И тот, кто пал за Отечество в Отечественной войне,
Сегодня в роли ответчика, но завтра будет в цене.

Однажды мы, победители, ворвемся в свои дома,
В которых наши родители сегодня сходят с ума.

2. ИЗ ФРАНСУА ВИЙОНА БАЛЛАДА О ПИПИНЕ КОРОТКОМ*

Восьмого века посреди
Возглавил франков, им на горе,
Король с отвагою в груди
И кровожадностью во взоре.
Он был бы, честно говоря,
Правитель сдержанный и кроткий —
Увы, была у короля
Одна беда: пипин короткий!

Он компенсировал пипин
Чредой скандалов смехотворных,
Порою видом вражьих спин,
Порой мучительством придворных,
Его воинственная прыть
Была бессильна пред красоткой,
И он сражался — чтоб забыть,
Что у него пипин короткий!

Данная баллада принадлежит к так называемым “приписываемым” (*attributable*) балладам Вийона, появившимся после его исчезновения в 1464 году и получившим во Франции огромное распространение под именем легендарного школяра. Пипин Короткий (714–768) — король франков, прославившийся триумфальными походами. Вийон, как всякий книжник, демонстрирует недостаток патриотизма.

Ужасный век! Кругом враги —
Баварцы, саксы, алеманны...
Он истощал свои мозги,
Опустошал свои карманы,
Растратил франков большинство...
Народ же сделал вывод четкий
И догадался: у него,
Скорей всего, пипин короткий!

На Аквитанию поход,
На лангобардов аж четыре,
И даже в свой последний год
Он слышать не хотел о мире.
Забыто имя короля,
Приметы речи и походки,
И только кличка — вуаля! —
Осталась нам: Пипин Короткий!

Принц! Затверди его урок.
Принадлежа к Средневековью,
Когда б хотел, он явно мог
Скрепить страну не только кровью.
Когда б не кровь и не развал,
Да не разборки и разводки, —
Глядишь, никто б и не узнал,
Что у него пипин короткий.

3. ИЗ ЭРИХА КЕСТНЕРА

Была б моя лира первойшей из лир, —
Мечтаю я полночью вешней, —
Когда бы ужасный свой внутренний мир
Я смог опрокинуть во внешний.

Когда бы в родном и соседнем краю,
В клубах ядовитого дыма,
Твердыню,

Гордыню,
Пустыню мою
Явил я зловонно и зримо.

Когда бы слова, беспощадно остры,
Открыли друзьям-фарисеям
Все трупы,
Воронки,
Обломки,
Костры,
Которыми мир мой усеян.

Пейзаж моей жизни — презренье и тлен,
Кровавые стычки и стачки,
Солдатские толпы, бредущие в плен,
Хронический поиск предательства, измен,
Вставанье с колен
На карачки.

И смятая, словно бумага, броня,
Клочок обгорелого флага храня,
И страсти позор,
И доверья херня,
Кишки и кровавые лужи —
Все то, что воняет внутри у меня,
На миг оказалось снаружи.

И вот бы явить это миру, как есть,
В величии подлом и полном, —
Какая была бы ужасная месть
Всем тем, кто меня недопонял!

Вот это — искусство.
Все кроме — отстой.
Вот это была бы расплата
С врагами, друзьями, роднею — и с той,
Что более всех виновата.

Но чтобы души моей адский пейзаж
Явить равнодушным планетам,
Глядящим из бездны на выводок наш, —
Я должен бы стать не-поэтом.

Я должен бы стать слепошарым кротом,
Отборною тварью соборной,
Которая, спрятавшись в сталь и бетон,
Таится от мира в уборной.

И смерти моей, молодой человек, —
Что признак опять-таки гения, —
Желали б не семь с половиной калек,
А семь миллиардов.
Не менее.

4. ИЗ МИГЕЛЯ ДЕ УНАМУНО

“Хорошо бы мне жить одному бы,
Всех отдельней, всех незаметней”, —
Так обиженно, выпятив губы,
Говорил мне мой сын семилетний.
“И ложиться, когда мне охота,
А не спросив позволения чьего-то,
И от злобных родителей скрыться,
И при этом не мыться, не стричься”.

Но сестра его, старшая на год,
Повторяла: “Да что ты? Да что ты?
Это ж сколько невзгод или тягот,
И ни помощи нет, ни заботы.
Одиноко без общества, братик.
Пошатнешься — никто не подхватит.
Хочешь есть — бутерброд не намажут.
Заблудился — пути не укажут”.

Я их слушал и думал: да ладно?
Тоже разница, можно подумать.
Стоит небу взглянуть безотрадно,
Стоит ветру холодному дунуть —
И никто не укажет дорожек,
И никто не предложит поблажек,
И никто никому не поможет,
И никто ничего не подскажет,
Потому что мы все одиноки —
И на Западе, и на Востоке,
В шумном мире, в земной круговерти,
Одиноки и в жизни, и в смерти.
Загрустишь — и никто не заплачет.
Чуть привяжешься — смоемся быстро.
Так что можешь не стричься, мой мальчик,
А впоследствии можешь не бриться.*

5. ИЗ ЛЕОНА ФЕЛИПЕ

Казалось бы, все уже ваше — земли, слова, права,
Пресса, суды, глава, камни, вода, трава,
И все — от главы до травы — уже такое, как вы,
Такое.
Уже возгласил Госбред, что это на сотню лет,
Уже учрежден Комбед, уже проданся поэт,
Уже отменен рассвет, а вам по-прежнему нет
Покоя.
Уже вас пустили в сад, в столицу, в калашный ряд,
Рабы подставляют зад, соседи отводят взгляд,
По стогнам идет парад, жильцы обоняют смрад
Параши,

Это единственное стихотворение цикла, у которого был оригинал —
“Yo quiero vivir solo”, — но перевод от него настолько отдалился,
что это скорее вариация на тему.

Все, что запрещено, выброшено давно,
Все, что разрешено, заранее прощено,
И всем уже все равно, и все это все равно
Не ваше.

Все уже стало так, как вечно хотел дурак.
Если бы мрак! Кругом теперь полумрак.
Всюду, где не барак, — дебри и буерак,
Как в Вольге.

Я все отдам завистнику и врагу,
Ни дня не спрячу, ни слова не сберегу,
Но сделать все это вашим я не могу,
Увольте.

2

Вот тебе баба, дерево, птица,
Воздух, ключ от жилья.
Где тебе этим так насладиться,
Как наслаждался я?
Мой мир отныне тебе завещан
И, в сущности, искалечен.
Отныне тебе наслаждаться есть чем,
Но насладиться — нечем.
Правильно так говорить при утрате
Жизни, жены, страны.
Эти слова не добры — но кстати,
Эти слова верны.
От них смутится любая рать,
Пьяная от побед,
Так как вы можете все забрать,
Всех замучить и всех задрать,
Все изгадить и все засрать,
А насладиться — нет.

ПЛОЩАДЬ НЕЗАВИСТЛИВОСТИ

Я часто думаю: где черта,
Свинцовая, как белила,
Граница та, паляница* та,
Что нас навек разделила
На тех, кто запер себя в клозет,
Где страстно ругают Запад
И любят символы в виде “зет”, —
И тех, кто туда не заперт?
Проскролив пару десятков лент,
Сейчас попаду, не целясь:
Вторичный признак — ресентимент,
Первичный — неполноценность.
Всегда травили меня гурьбой,
Шушукаясь за спиною,
Не те, кому нравится быть собой,
А те, кто хотел бы — мною.

У барда N никаких проблем,
Но он неудачник в главном —
Он хочет быть поэтессой М.,
Увенчанной щедрым лавром.
У М. густой православный грим,
Но постная поэтесса
Не стала мягче, присвоив Крым:
Теперь ей нужна Одесса.
Она ругает судьбу свою,
Ей тесно в границах жанра:
Она хотела бы стать как Ю.
И скалиться кровожадно.
У Ю. — своя кривизна в судьбе,
Там тоже видна причинность:
Ей быть хотелось поэтом Б.,
Однако не получилось.

Шиболет нашего времени.

У Б. случился позорный текст
По поводу Украины,
Он сам признался, что был из тех,
Кто всюду видит руины,
Поскольку он, несмотря на пост
И грохот славы желанной,
Хотел не Нобеля взять за хвост,
А быть Мариной Ивановой.

А вот она, несмотря на не-
Слиянность души и тела,
Была довольна собой вполне
И быть другой не хотела.
Не склонен к зависти только тот,
Кто мнит себя лучше прочих:
Из них выходит святой народ
Эстетов-чернорабочих.
И хоть ее нищета рвала
Безжалостными клещами,
Она всю жизнь занята была
Значительными вещами:
Не как бы ей превратить в ЗэКа
Соперника основного,
А как бы ей прокормить сынка
И выбрать лучшее слово.

На штурм и вылом чужих ворот
Кидается год за годом
Народ-подпольщик, полународ,
Боящийся стать народом.
Толпу завистников и калек
Ведет по кровавым рекам
Безликий призрак, стерх-человек,
Считаясь сверхчеловеком.
И каждый зависть несет свою,
Бурлящую, будто Этна,

И обольщается, что в строю
Все это не так заметно.

О мрак подполья! О взвизги крыс!
О вечный, ползучий комплекс!
Уймись, умойся, утрись, заткнись,
О стены соседа кокнись!
И пусть нас выведет в новый путь
Правитель с лицом и именем,
Герой, умеющий что-нибудь,
Довольный собой. Как минимум.

ШЕСТНАДЦАТАЯ БАЛЛАДА

Война, война.

С воинственным гиканьем пыльные племена
Прыгают в стремяна.

На западном фронте без перемен: воюют нацмен и абориген,
Пришлец и местный, чужой и свой, придонный и донный слой.
Художник сдал боевой листок: “Запад есть Запад, Восток — Восток”.
На флаге колышется “Бей-спасай” и слышится “гей”-“банзай”.
Солдаты со временем входят в раж: дерясь
по принципу “наш — не наш”,
Родные норы делят межой по принципу “свой-чужой”.

Война, война.

Сторон четыре, и каждая сторона
Кроваво озарена.

На северном фронте без перемен: там амазонка и супермен.
Крутые бабы палят в грудак всем, кто взглянул не так.
В ночных утехх большой разброс: на женском фронте цветет лесбос
В мужских окопах царит содом, дополнен ручным трудом.
“Все бабы суки!” — орет комдив, на полмгновенья опередив
Комдившу, в грохоте и пыли визжащую: “Кобели!”

Война, война.

Компания миротворцев окружена
В районе Бородина.

На южном фронте без перемен: войну ведут буржуй и гамен,
Там сводят счета — точней, счета — элита и нищета.
На этом фронте всякий — герой, но перебежчик — каждый второй.
И дым отслеживать не дает взаимный их переход:
Вчерашний босс оказался бос, вчерашний бомж его перерос —
Ломает руки информбюро, спецкор бросает перо.

Война, война.

Посмотришь вокруг — кругом уже ни хрена,
А только она одна.

На фронте восточном без перемен: распад и юность, расцвет и тлен,
Бессильный опыт бьется с толпой молодости тупой.

Дозор старперов поймал бойца — боец приполз навестить отца:
Сперва с отцом обнялись в слезах, потом подрались в сердцах.
Меж тем ряды стариков растут: едва двоих приберет инсульт —
Перебегают три дурака, достигшие сорока.

Война, война.

По левому флангу ко мне крадется жена.
Она вооружена.

Лишь мы с тобою в кольце фронтов лежим в земле, как пара кротов,
Лежим, и каждый новый фугас землей засыпает нас.

Среди войны возрастов, полов, стальных стволов и больных голов
Лежим среди чужих оборон со всех четырех сторон.

Мужик и баба, богач и голь, нацмен и Русь, седина и смоль,
Лежим, которую ночь подряд штампуют новых солдат.

Лежим, враги по всем четырем, никак объятий не раздерем,
Пока орудий не навели на пядь ничейной земли.

2011

ОСТРОВ ЗМЕИНЫЙ

*Английский генерал воскликнул: "Храбрые французы, сдавайтесь!" Камбронн отвечал им: "Merde!"
{Дерьмо! (фр.)} Произнести это слово и потом умереть — есть ли что-нибудь более возвышенное?
Виктор Гюго, "Отверженные"*

Пять десятков прожив с половиной
Неуклонно сгущавшихся лет,
Угодил я на остров Змеиный,
А с него отступления нет.

Ибо жизнь — это остров Змеиный,
А под стать ей и Родина-мать.
Мы привязаны к ней пуповиной,
Но однажды приходится рвать.

Местной жизни моей угрожая,
Вы подобны тому кораблю.
Искони ты была мне чужая.
Ты не любишь — и я не люблю.

Сколько можно молить и гундосить?
Нынче время понять и проклясть,
Эту жизнь нелюбимую бросить,
Как гранату, в зловонную пасть.

Все расхищено, все пережито,
Что не вывезли, то размели...
Чем мне, собственно, здесь дорожить-то?
Разве горстью змеиной земли?

Но на ней уже царствуют змеи,
Их ползучий, безудержный зуд,
И поэтому будет вернее
Ничего не достраивать тут.

Мы ли ждали другого финала?
Мы ль хотели иного конца?
Я ведь прожил с клеймом маргинала,
То есть, проще сказать, погранца.

Прав поэт — “несравненное право
Самому выбирать свою смерть”,
Но сначала тебе, сверхдержава,
Харкнуть в морду законное “Merde”.

С вашей бляхой, папахой и плахой,
С вашим вечным “пугай и карай”, бл...
И поэтому шел бы ты на хуй,
Мой российский военный корабль.

ВОЛЬНЫЕ МЫСЛИ

1

В России выяснение отношений
Бессмысленно. Поэт Владимир Нарбут
С женой ругался в ночь перед арестом:
То ему не так, и то не этак,
И больше нет взаимопониманья,
Она ж ему резонно возражала,
Что он и сам обрюзг и опустился,
Стихов не пишет, брюзжит и ноет
И сделался совершенно невозможен.
Нервозность их отчасти объяснима
Тем, что ночами чаще забирали,
И вот они сидят и, значит, ждут,
Ругаясь в ожидании ареста
И предъявляя перечень претензий
Взаимных.
И тут за ним приходят —
Как раз когда она в порыве гнева
Ему говорит, что надо бы расстаться,
Хоть временно. И он в ответ кивает.
Они и расстанутся в ту же ночь.

А дальше что? А там, само собою,
Жена ему таскает передачи,
Поскольку только родственник ближайший
Такую привилегию имеет;
Стоит в очередях, носит продукты.
Иметь жену в России должен каждый —
Или там мужа; родители ненадежны,
Больны и стары, а всякий старец
Собою озабочен много более,
Чем даже отпрыском. Ему неясно,
С какой он стати, вырастив балбеса

И жизнь в него вложив, теперь обязан
Стоять в очередях. Не отрицайте,
Такое бывает; вообще родитель
Немощен, его шатает ветром,
Он может прямо в очереди сдохнуть,
Взять и упасть, и не будет передачи.
В тюрьме без передачи очень трудно.
В России этот опыт живет в генах.
Все понимают, что терпеть супруга
Приходится. Любовниц не пускают,
Свиданий не дают, а женам можно.
Ведь в паспорте никто пока не пишет
“Любовница”! А получить свиданье
Способен только тот, кто вписан в паспорт.
Вот что имел в виду Наум Коржавин,
Что в наши, дескать, трудные времена
Человеку нужна жена. Нужна. Уж верно,
Не для того, чтоб с нею говорить.

Поэтому выяснение отношений
Бессмысленно. Поэтому романы
В России кратки, к тому же всегда негде.
Нашли убогий угол, быстро слиплись,
Быстро разлиплись, подали заявленье,
Сложили чемодан и ждут ареста.
Нормальная любовь. Потом плодятся,
Дети быстро знакомятся, ищут угол,
Складывают чемодан и ждут ареста.
Паузы между эпохами арестов
Достаточны, чтобы успели дети
Сложить чемодан и слипнуться. Ведь надо
Кому-нибудь стоять в очередях.
В любви здесь надо объясняться быстро —
Поскольку холодно; слипаться быстро —
Поскольку негде; а разводиться
Вообще нельзя, поскольку передачи
Буквально будет некому носить.

В Берлине, в многолюдном кабаке,
 Особенно легко себе представить,
 Как тут сидишь году в тридцать четвертом,
 Свободных мест нету, воскресенье,
 Сияя, входит пара молодая,
 Лет по семнадцати, по восемнадцати,
 Распространяя запах юной похоти,
 Две чистых особи, друг у друга первые,
 Любовь, но хорошо и как гимнастика,
 Заходят, кабак битком, видят еврея,
 Сидит на лучшем месте у окна,
 Пьет пиво — опрокидывают пиво,
 Выкидывают еврея, садятся сами,
 Года два спустя могли убить,
 Но нет, еще нельзя: смели, как грязь.

С каким бы чувством я на них смотрел?

А вот с таким, с каким смотрю на все:
 Понимание и даже любованье,
 И окажись со мною пистолет,
 Я, кажется, не смог бы их убить:
 Жаль разрушать такое совершенство,
 Такой набор физических кондиций,
 Не омраченных никакой душой.
 Кровь бьется, легкие дышат, кожа туга,
 Фирменная секреция, секрет фирмы,
 Вьются бестиальные белокудри,
 И главное, их все равно убьют.
 Вот так бы я смотрел на них и знал,
 Что этот сгинет на восточном фронте,
 А эта под бомбежками в тылу:
 Такая особь долго не живет.
 Пища богов должна быть молодой,
 Нежирною и лучше белокурой.

А я еще, возможно, уцелею,
Сбегу, куплю спасенье за коронку,
Успею на последний пароход
И выплыву, когда он подорвется:
Мир вечно хочет перекрыть мне воздух,
Однако никогда не до конца:
То ли еще я в пищу не гожусь,
То ли я, правду сказать, вообще не пища.
Он будет умирать и возрождаться
Неутомимо на моих глазах,
А я — именно я, такой, как есть,
Не просто еврей, и дело не в еврействе,
Живой осколок самой древней правды,
Душимый всеми, даже и своими,
Сгоняемый со всех привычных мест,
Вечно бегущий из огня в огонь,
Неуязвимый, словно в центре бури, —
Буду смотреть, как и сейчас смотрю:
Не бог, не пища, так, другое дело.

Довольно сложный комплекс ощущений,
Но не сказать, чтоб вовсе неприятных.



И, разумеется, все это сбудется —
Весна дождливая, трава еще нестриженная,
Полузабытая покинутая улица,
Толпа ликующая, несколько пристыженная,
И возвращенье эмигранта-триумфатора,
Иноплеменными объятьями захватанного,
В рыданиях сближения внезапного
Тепла и холода, Орды и Запада,
И омоложена, и так облагорожена,
И вмиг завалена всеобщим подаянием
Полураздавленная, плачущая Родина,
Преображенная повальным покаянием.

Не может быть,
Чтобы твои усилия
Ради всего живого-прогрессивного
Пропали зря. Поверженных помянем,
Почтим их память массовым камланьем.

Над нами небо исполнения желаний —
Лилово-серое над ядовитой зеленью,
Столь милосердное над безутешной плесенью,
Над всей открывшеюся бездной омерзения,
И мразь, бегущая в Италию и далее,
И ядовитые газоны цвета озими,
И ощущение, что все-таки мы дожили,
Хотя и жизнь ушла на выжидание.
И черви под дождем полураздавленные,
И посрамленные пророчицы бездарные,
Хотя что так все будет — знал из Дарвина я,
А если честно, знал бы и без Дарвина.

И все бы хорошо, но отвлекают
Откуда-то долетающие звуки —

Полузабывшиеся люди отвлекают,
Напоминая об окончившейся муке,
Но в общем это можно игнорировать,
Все заслонить озоном и газоном,
Оттенком Родины, очнувшейся в разлуке,
Тем материнским, серым и зеленым,
И розовым! Еще немного розовым!
Иль это цвет червей? Но также детства.

...Но, разумеется, и это тоже сбудется —
Столица мира, нашими захваченная,
Рычание танков, воинская музыка,
Опять победа, дорого оплаченная,
Толпа ликующая, несколько пристыженная,
Молящие о снисхождении матери —
Но Родина гуманна, и не мстит же она:
Вы обыватели, и вы не виноватее.
И то сказать,
Мы разве ненавидели?
Оставьте причитанья пономарьи —
Мы просто ваше благо лучше видели
И ваше счастье лучше понимали.

Над нами небо исполнения желаний —
Вечно-весеннее, слегка дождливое,
Из-за руин до победителя доносится
Блаженный отзвук ликованья черни,
И этот час неокончательных итогов —
Неразличаемо, дневной или вечерний,
По резко пахнущему мокрому асфальту —
Полураздавленные розовые черви,
Не может быть,
Чтобы твои гуляния
Для угнобления всего нерегулярного
Пропали зря.
Они разверзлись адом
И увенчались воинским парадом.

И жизнь была не средством достижения —
Достичь нельзя, мы тут не ради спорта, —
А накоплением картинок для просмотра,
Когда пора настанет их просматривать.
Роднят их только сумерки весенние,
Они свои у каждого героя,
И чтобы каждый раз не рушить строя,
Их выдают в награду за терпение.

Мешают, правда, отвлекающие звуки —
Не то какие-то рыдающие внуки,
Не то как будто металлические звяки
В кювету бешено бросаемых приборов,
Таких сверкающих железных инструментов,
Чья грозность мнимая сравнима с бесполезностью,
О чем еще не знают люди в белом,
И благородный муж, на возвышении,
Внимая плеску своего триумфа,
Не отвлекается на реанимационные,
Уже ненужные
Мероприятия.



Любой тебе подтвердит,
Не спойлер:
В конце добро победит.
Не спорим.

Но чтобы ты понимал —
Не тайна,
Что после конца финал,
Два тайма.

Отсюда реванш, нытье,
Обида,
А после из-за нее —
Мегиддо.

Потом послед, постмодерн,
Зараза:
Его я, пострел, посмотрел
Два раза.

И только потом — итог,
Исход, вишь.
Поставишь себе тик-ток —
Посмотришь.

И что там будет с добром
В итоге —
Не знают ни Google Chrome,
Ни боги.

ДЕКАБРЬСКОЕ

*Да разве могут дети юга
Понять, что значит Кали-юга?*

Кто видел лед воочью,
Тот верит декабрю.
Декабрьской этой ночью
Я правду говорю.

Сперва мы выживали —
Болтун, жуир, позер;
Потом мы выжидали,
И это был позор.

Потом нас выжимали
Из наших нищих нор;
Потом нас выжигали,
И это до сих пор.

Какое шерри-бренди?
Наш выбор — шерить бред.
Мы в нисходящем тренде.
Другого, впрочем, нет.

Печальней буквы точка.
Молчанье хуже фраз.
Нас всех заменит то, что
Гораздо хуже нас.

Чуму убьет холера,
Война снесет тюрьму,
Садиста-офицера
Матрос убьет в Крыму.

Идейного злодея
Скальпирует злодей
Из первого отдела
Без правил и идей.

Бордюр заменит плитка,
Бойца сожрет прохвост,
Допрос сменяет пытка,
А пытку — холокост.

Тебя убьет не равный,
А вирус или ЧОН,
Иль выродок державный,
Что тоже обречен.

Тебе солгал родитель,
Когда привел на свет.
Тлен — общий победитель,
Другого, впрочем, нет.

Тьма — не Тартар, не Кали,
Она со всех сторон.
Добро же с кулаками —
Вообще оксюморон.

Добро всегда случайно,
Как милость, как просвет,
И только в этом тайна,
А больше тайны нет.

Добро не торжествует.
Оно сидит, тоскует
И смотрит из угла
На поединки зла.

ДОСТОЕВСКОЕ

Двести лет, получается, вместе. Как-то скромненько его юбилей. Мне же мастер хтонической жесты с каждым годом родней и милей. Мне привычно клеймо святотатца, так что прямо скажу, господа: уважаю, но, страшно признаться, я его не любил никогда. Ряд obsessions, шершавости слога, страсть к еврейству и злобный оскал... Он как будто не чувствовал Бога, потому-то всю жизнь и искал. Оппозиций, по-моему, ложных многовато. Герои — отстой. Памфлетист в нем сильнее, чем художник, — что заметил еще и Толстой. Невоспитан, во всем неумерен, отдохнуть от себя не дает... Зло он чувствует, видит, умеет; как добряк, так всегда идиот. Перманентно страдая без грошей, плюс рулетка еще заодно... Безусловно, он был нехороший. Драма в том, что хороших полно. А народ наш такой бедолажий, злой к соседям, терпимый к ярму, — наше дело его будоражить, а утешить найдется кому.

Знать, он все-таки чувствовал слово, если так его тексты фонят, раз не любят его, как живого, — я и сам далеко не фанат. В описании дьявольской мессы он действительно неповторим; хорошо, что написаны “Бесы”! Надо б “Ангелов” томом вторым: про охранку, доносчиков, слежку, неразлучных с ножом и кнутом палачей и попов вперемешку, и частично идейных притом... Он постиг наши вечные войны, сам участвовал в этой войне: Достоевский, тебя мы — достойны. Прочих — вряд ли, тебя же — вполне. Да, плохой. Но не пошлый, не ложный, не с тупой показною сохой — невозможный, противный, тревожный, настоящий, бесспорный плохой! Голос искренний, с самого низа, из подполья, из злого угла! Лишь калека, безногая Лиза, полюбить бы такого могла. Но уж так развелось хороших, безупречных и правильных, нах, в этих эпловских их макинтошах, в отутюженных чистых штанах, что и вправду порою охота, эту коудлу увидев кругом, с отрешенным лицом идиота стать всеобщим заклятым врагом! Достоевский, ты русская жопа! Пахнет истиной каждый абзац. И приятно, что любит Европа эту жопу со страхом лобзать. Стиль неряшлив, но дело не в стиле. Он отбросил надежду

и лесть: все писатели русскому льстили — он один нас увидел, как есть: черномазовы, сладость разврата! Правда, все-таки вставил, пострел, одного симпатичного брата — про него дописать не успел. А не то бы, глядишь, и с Алешей разобрался в манере своей...

Не хороший, отнюдь не хороший. И отдельно скажу как еврей: мы гордиться собою умеем — даже, можно сказать, из могил. Мне приятней считаться евреем, потому что он нас — не любил.



Спасибо, Господи, спасибо
За то, что я еврей —
Доисторическая рыба
Из высохших морей,
Былого замысла осколок,
Как Ездра говорит,
Читатель, жрец, халдей, астролог,
Твой прежний фаворит.

Сверх дела всякого и слова
На мне стоит клеймо,
Оно до выбора любого
Решает все само —
Неубиваемая прожидь!
И каждый Вавилон
Меня стремится уничтожить
За то, что я не он.

За то, что среди окрестных топей —
Свидетель я немой
Несостоявшихся утопий
Твоих, Создатель мой;
Твоих Содомов и потопов,
Шумеров и Аккад,
Твоих этапов и окопов,
Бойниц и баррикад.

А то — подумай! — как бы сладко
Поставить подпись-крест
За наведение порядка
В пределах здешних мест!
Но база всякого порядка —
Чтоб был убит еврей,
Не оставляя отпечатка —
И лучше поскорей.

...Вот так посмотришь фильм Лозницы,
Прочтешь две-три статьи,
Заглянешь в черные глазницы,
Двадцатый век, твои —
Нет победительней соблазна,
Чем встать по росту в ряд
И дальше действовать согласно
Тому, что говорят.

Чуть об ином грядущем Хама
Напомнит стук сапог —
Кругом бегут к нему с цветами;
Глядишь, и я бы мог,
Как мой сосед, что с хлебом-солью
Встречает смерть свою,
Вполне доволен скромной ролью
Бойца в ее строю.

О, мой сосед, чья хата с краю!
Прости меня, изволь,
Что я тебе напоминаю
Про этот хлеб и соль.
Ты честный чел, ты добрый малый —
Но я навек иной,
Хотя и несколько, пожалуй,
Избыточной ценой.

ГРАЖДАНСКИЙ РОМАНС

Прохладные, блеклые звезды июня
И росные травы по брюхо коню,
Осиновый трепет — не медли, Иуда! —
И степь как могила *soldat incopnu*,
Ночная равнина, где хватит простора
Для слова пустого и дела простого,
И все эти бонусы русским даны
На случай гражданской войны.

Сирени, рябины кладбищенский запах,
Дрожащий от шорохов сад-огород
Даны для прощаний: ему-то на запад,
А ей-то, как водится, наоборот.
В России все спутницы, все домочадцы
Нужны для того, чтобы с ними попрощаться:
Для долгих сожительств они не годны —
Зато для гражданской войны!

Чуть ночь засинеет в проемах оконных,
Мне строки окопные сердце сожмут,
Мне видятся всадники в шлемах суконных,
Они не серпами, а шашками жнут.
Постылой торговли верней продразверстка,
Взаимные пытки живей производства —
Мои соплеменники вечно верны
Законам гражданской войны!

Тачанка и пуля — вернее корыта,
Кумач и бинты интересней рядна.
Война бесконечна: порой она скрыта —
Разруха вечна и повсюду видна.
Обстрелян пейзаж из невидимой пушки,
Приметы бомбежки на каждой опушке,
В любой электричке глядят со стены
Декреты гражданской войны.

Как жизнь без нее лишена содержания!
Как эти пространства пусты и тесны
Без волчьего воя, без конского ржання,
Без смертного запаха поздней весны!
Поволжские струги, забытые страхи
Кольшет державный ее амфибрахий
И входит в мои предрассветные сны
Кануна гражданской войны.



Добро бы вы, добро бы, как деву из ребра,
Из лютой вашей злобы наделали добра,
А то ведь вы, а то ведь, все наше погубя,
Сумели изготовить геенну для себя.
Гнилушки, наружки, прослушки, барак...
Добро бы вам же лучше, но вам же хуже так!
Настроили себе же — чего там, не жалей, —
На месте побережий, взамен оранжерей —
Базарные базары, пустые пустыри,
Для мужиков казармы, для баб монастыри.
Сады, конечно, выжжены, и это подделом,
Амуры-нимфы спизжены и проданы на лом,
И что вам в этой порче ж? Задумайся, окстась:
Пока все это топчешь, — естественно, экстаз,
А после всех сожжений, сражений, ковылей —
Ужели не тяжеле? Ужели веселей?

А мы бы, а мы бы — помилуй, не карай! —
Из этой адской глыбы вам выгесали рай,
Заклеили бы дыры, кормили пирогом,
Амуры и зефиры летали бы кругом,
Рогатые олени скакали бы в ночи,
Усатые тюлени вращали бы мячи,
Хвостатая комета махала бы хвостом,
А мы б за все за это просили о простом:
Позвольте нам помучиться над тайной бытия,
Пускай дитя обучится тому, что знаю я!
Ни меду и ни патоки, ни фокусов с казной —
На сладкой нашей каторге повкалывать позволяй!
А я тебе и золота, и вотчину свою...
Но не было позволено.
И я теперь в раю.

Вокруг цветет магнолия, а облака над ней
Такие же, но более, и выше, и синей,

Рогатые олени бодаются в кустах,
Усатые тюлени танцуют на хвостах,
Кругом беседки с вазами, зефиры и стада,
Все как-то безнаказанней — а я гляжу туда,
Туда, где вы ускорили расплату из расплат,
Туда, где вы построили свой одинокий ад,
В сожженную аллею, в безлюдную Москву,
И так я вас жалею, что прям-таки реву!
Ко мне подходит некто с окладистой бородой:
Конец, говорит, проекта, начну, говорит, другой.
Что плачешь? Ностальгия? Да ну тебя, забей.
Они там все тупые, а ты еще тупей.



Мы смысла ждем?
Вот тебе смысл, изволь:
Ты был рожден
В кафе передать соль.
Морской причал.
Вздрагивающая гладь.
И я вручал,
Но некому было брать.

Мы соль земли,
Как было предreshено,
Но видишь ли —
Ее и без нас полно:
Лежит пышной,
Чем чистый степной снег,
Свисает с любых ветвей,
Со всех стрех.

Похоже, когда Господь
Создавал соль —
Задумал одну щепоть,
Но вошел в роль:
По ходу земных дорог
И людских воль
Рассыпал ее поперек,
Разложил вдоль.

Уместнее был бы сахар,
А мы — соль.
Уместнее был бы знахарь,
А мы — боль.
Уместней тоска по раю,
А нам — труд.
Теперь вообще не знаю,
Зачем я тут.

Я знал чудаков и чудищ,
Графинь и пролш*.
Видал и тех, кто будущ,
И тех, кто прошл.
Но видит Бог —
Я так и не встретил столь
Пресного, чтобы я мог
Передать соль.

* Пролша — самка прола.

НА МОТИВ НЕКРАСОВА

Странно думать, что все это временней
Хомяка, мотылька, сквозняка,
Все ходы человеческого племени,
Все уловки его языка:
Этот умница, эта красавица,
Звонкий стих и цветущая плоть —
Неужель ничего не останется,
Где-то там, в директории хоть?
Даже гений, наивно уверенный,
Что поэтика выше носков,
И несчастный присяжный поверенный,
Похороненный в городе Псков,
Под плитою забытой, замшелюю,
Заставляющей вскрикнуть сквозь сон:
Что я делаю, что я здесь делаю! —
Зуккенсон, Боже мой, Зуккенсон!

Правда, кажется даже бессмысленней
Сохраненье на тайных складах
Этой всей — чем наглей, тем бесчисленней, —
Запыленной в бессчетных годах,
Этой лезущей в окна материи,
Каждой осыпи, каждого пня,
Каждой тувельки, каждой бактерии,
Каждой гадины вроде меня!
Что такого бесценного вызнато
Этой бурной, зловонной рекой,
Надоевшей уже и при жизни-то,
А посмертно вообще никакой?
Дуры, воины, сивые мерины —
Что за пошлость беречь этот хлам!
И конечно, присяжный поверенный:
Танненбам, Боже мой, Танненбам!

Но не зря же я все-таки прыгаю,
Жду зарю, возражаю царю...

Я там буду, наверное, книгою:
Сняли с полки — и я говорю.
В полусне пребывает, в апатии,
Забывая свои же слова,
Но представится случай — и хватъ ее!
И поет, и орет, и жива.
А наскучит пылиться на полочке
И потянет поплавать в Крыму —
И среди новорожденной сволочи
Я найду подселиться к кому.
В их сознания, гаджеты, виджеты
Так впечатаясь, что не сотрут:
Только что Иванов — а гляди же ты:
Зильбертруд, Боже мой, Зильбертруд!



Первый лед, который хрустит расколото,
Запах холода и тепла,
Все, что жадно, стыдно, смешно и молодо, —
Это то, что ты мне дала.

Эти полдни с воздухом мятно-перечным,
Эта изморозь на стерне,
И захлёб, и ревность, и склонность к перечням —
Это то, что дала ты мне.

Эти тихие реки с гнилыми устьями,
Горечь сладости, силу зла —
Это все, что я стал замечать и чувствовать,
Потому что ты мне дала.

Без тебя я был бы такая Замбия,
Длушь такая, такая гать!
Без твоей подачи вовек не знал бы я
Риск и славу глагола “дать”.

Все — от горних звезд с ледяными иглами
И до ходиков на стене —
Было внятно мне, как пророкам Библии,
В дни, когда ты давала мне.

Эти бездны, взрывы, мольбы и бреды те,
То молясь тебе, то грубя, —
Было то, чего не дано мне ведати
Без тебя и после тебя.

Повторяя штамп про величье участи,
Вредный совести и уму,
Я почти простил, хоть сперва помучился,
В год, когда ты дала ему.

Доверяя фальши волхва и воина,
Не любовница, не жена,
Ты в себе не властна, ты так устроена,
Ты для этого рождена.

Все ползут к тебе со своими жаждами, —
Ум и бестолочь, чернь и знать —
И напрасна ревность: даешь ты каждому
Только то, что он может взять.

...И во сне увидев, от счастья вздрагиваю,
И терпя чужие тела,
Я свой век тяну, свою песнь дотягиваю
Лишь на том, что ты мне дала.

Это песнь о Родине.
Даже гимн ее.
И попытка прикрыть с тоской
Тему остро-нежную,
Сплошь интимную,
Темой грубою и простой.

Книга
ВЫМЫШ-
ЛЕННЫХ
ГОРОДОВ

И перед ней уже стоит, беспомощен и страшен,
Ужасный иномирный гость.
Не разглядеть, где жало, где глаза, где жвала,
Тонкий писк — бессильный позывной,
Его ужасно жаль, его довольно мало:
Таракан, хотя и неземной.

Стыдно морю в час отлива. Вероятно, отлив
Отрекается от мира, потому что брезглив.
Когда-то, видимо, у мира был хозяин,
Но бросил отпрысков, устав смотреть в глаза им.

Она глядит на эти жвала, молчалива и кротка,
Как та лягушка после бала на Ивана-дурака.
Она в ответ глядит без страха, но с такой тоской,
Как на детей земного праха смотрит царь морской,
Как великан — на детский чепчик, или царь — на чернь...
— Ну вот зачем, — печально шепчет, — вот зачем, зачем?
Любовь — она такое дело, что стыдно длить любую ложь —
Все тянет сбросить, вплоть до тела, но тела все-таки не трожь.
А то ты не знал, что мы — шпионы, лениво тянущие роль?
Нас миллиарды, миллионы, а коренных тут просто ноль.
Земля летит себе в астрале, полна притворщиц и зануд.
Зачем нас всех сюда заслали — узнаем, если отзовут.
Никто не знает, что мы ищем, — то ли правду, то ли нефть,
Но нефть потребна только нищим, а правды не было и нет.
Одна утеха — эти ночки, сырые сумерки весны.
По правде, наши оболочки на это только и годны.
Сбрасывай любые покровы, но не доскребайся до дна,
А то, чем тащить тебя такого, лучше я останусь одна.

Я наигралась, отревелась, теперь не движусь дальше ню —
Шалишь, любую откровенность пресекаю на корню.
Какой позор, какая скука! Я сброшу прелести свои —
И ты увидишь, что я гадюка из созвездия Змеи,
И до того велика Вселенная, что шанса встретить земляка
И с ним вступить в увеселения — ни разу не было пока.

Так подбирай свои девайсы, пока в окне еще темно,
И одевайся, одевайся. У нас не будет ничего.

Стучится дождь. Рассвет сочится. В передней, сторбившись,
стоим.

В квартире холодно, нечисто и тесно выродкам двоим,
Но так печально, так тревожно, так одиноко, так мертво,
Как будто было все, что можно, и даже более того.

А море после бурной ночи дремлет тихо, как пруд,
Само не знает и знать не хочет, зачем оно тут.
Когда-то, видимо, у мира был хозяин,
Но улетел, и мы теперь ничего не знаем.

БАЛЛАДА ОБ ЭВОЛЮЦИИ ЖАНРА

Триллер семидесятых, мусор, но не позор:
Маленький город в Штатах возле тихих озер,
Душный уют предместий, детские голоса
И никаких предвестий в первые полчаса.
В девку влюблен ботаник, девкин папаша крут,
Девка — скорее пряник, папа скорее кнут.
Легкий налет тревоги: мертвенный цвет луны,
Сбитые на дороге лани и кабаны...
Впрочем, еще на титрах в пятки уйдет душа
От предсказаний хриплых местного алкаша:
Ежели кто в загранке, в царстве расхожих правд,
Видывал мир с изнанки — разве что алканавт.

Но тут вырывается магма, магма, копы бегут на взрыв,
Дитя надрывается “Мама, мама!”, кошки орут навзрыд,
И в брызгах гнили, в запахе гари на свет являются твари, твари,
Черный панцирь, алая слизь. Ждали и дождались.
Это могут быть черви, черви, — гумус Атланты щедр,
Может быть вариант дочерний ящеров из пещер,
Или до времени незаметный захватчик инопланетный,
Который понял, что мир ослаб, и бросился на растяп.

Ботаник делается брутален (а втайне и был таков),
Тварей выдавливают из спален, подвалов и чердаков,
Почва черна от тварей, старшая тварь мертва —
Как сочинять сценарий будущих Тварей-2?
Только припев осиплый местного алкаша
Нам обещает сиквел, публику тормоша.

Триллер восьмидесятых снят через десять лет
О роковых расплатах: здесь хеппи-эндов нет.
С первого кадра ясно: осень, пора истцов.
В кронах желто и красно, полог небес свинцов.
Странности в нашей паре. Девка, порвав с отцом,
Мужу родит от твари тварь со своим лицом.

Чувствуя слишком остро фабульный поворот,
Девка, вцепившись в монстра, монстра не отдает.
Он же лепечет “Мама”! Он же освоил речь!
В ней же теперь программа вечно его беречь.

— И если ты хочешь знать, скотина, пафосный лоботряс,
Когда меня эта тварь когтила, я кончила в первый раз,
Поскольку сами мы твари, твари, миледи и Маты Хари,
И мне милее склизкий паук, чем лысый доктор наук!
Есть грань меж нами, и эту грань не протаранишь лбом.
В любой из нас притаилась дрянь, а может быть, и в любом,
И я не отдам моего уродца, пусть даже тут все взорвется, —
И прячет страшного малыша в трущобе у алкаша.

Триллер из девяностых: в нем уже твари все —
В спальнях и на погостах, в школах и на шоссе.
Днем они в стаде, в паре, пафосны и грубы,
В баре торчат, как баре, в офисе, как рабы,
Бацают на гитаре, арфе или дуде —
Но все они только твари, и твари они везде.
Днем ритуально носят галстуки и пальто —
Ночью уже не косят, твари, ни подо что.
Форменный бестиарий, сборище адских харь —
Все они твари, твари! Смотришь — ты тоже тварь.
Взглянешь в глаза подругам, детям в глаза взгляни,
В зеркало, в пятый угол — всюду они, они.
Как удается падлам это внушить глазам?
Двадцать ли пятым кадром? Газ ли пускают в зал?
Улицы слизью покрыты густо. Вот она, власть искусства!
Сколько шарами вокруг ни шарь, всюду находишь тварь.
Все уже стало единым циклом. Приквел втекает в сиквел.
Жалко, что помер местный алкаш. Или он тоже ваш?

...Триллеры новой эры! Бросив страну, семью,
Рыцарей новой веры тайно опознаю.
Подозреваю сильно, глядя в родную хмарь,
Что и создатель фильма — в сущности, тоже тварь.

Ужасов снявши сотни, в пламени и дыму, —
Сам-то он их не смотрит, на фиг они ему.
Мы себе зренье привычно тешим этим голимым трэшем,
Он же снимает себе давно подлинное кино.
Я-то давно сквозь угар и хаос вижу этот артхаус,
То, что он смотрит, аспид рябой, наедине с собой:

Липы, дожди, вокзалы, съемка через вуаль,
Спрятанные финалы, смазанная мораль,
На синих волнах эфира все время слышится плач,
И это изнанка мира, сколько ее ни прячь:
Туман, роковые девки изменчивей бесенят...
Выбрасывай свои деньги, доверчивый меценат!
Мир — это сон уроды, нежность нетопыря,
Трудности перевода, попросту говоря,
Сладкие грезы тварей, песни ночных болот,
То ли кошмар в кошмаре,
То ли наоборот.



...Но образ России трехслоен,
Как тело химер,
И это не волхв и не воин,
А вот, например.

Представим не крупный, не мелкий,
А средней руки
Купеческий город на стрелке
Реки и Реки.

Пейзаж его строгий и слезный —
Хоть гни, хоть ломай.
Не раз его вырезал Грозный
И выжжет Мамай.

Менял он названия дважды —
Туда и сюда.
А климат по-прежнему влажный:
Вода и вода.

Теперь он живет в запустенье,
Что год — то пустей:
Засохшая ветка на стебле
Торговых путей.

Там много сгоревших строений,
Больших пустырей,
Бессмысленных злобных старений —
Что год, то старей.

От мала, увы, до велика,
Чтоб Бога бесить,
Там два предсказуемых лика
Умеют носить:

Безвыходной кроткой печали
И дикости злой.
Но это, сказал я в начале, —
Поверхностный слой.

Но девушка с местных окраин
С прозрачным лицом,
Чей облик как будто изваян
Античным резцом,

Собой искупает с избытком
Историю всю —
С пристрастьем к пожарам, и пыткам,
И слезным сю-сю.

И все эти взяты Казаней,
Иван и орда,
Недавняя смена названий
Туда и сюда.

Метания спившихся ссыльных,
Дворы и белье —
В каких-то последних усильях
Родили ее.

В каких-то немислимых корчах,
Грызя кулачки...
Но образ еще не закончен,
Хотя и почти.

Я к ней прибегу паладином,
Я все ей отдам,
Я жизнь положу к ее длинным
И бледным ногам.

Она меня походя сунет
В чудовищный рот.
Потом прожует меня, плюнет
И дальше пойдет.

ЧЕРНОГОРСКАЯ БАЛЛАДА

Бранко Дранич обнял брата, к сердцу братскому прижал,
Улыбнулся виновато и воткнул в него кинжал.
Янко Вуйчич пил когда-то с этим братом братский рог
И отместил ему за брата на распустье трех дорог.
Старый Дранич был мужчина и в деревне Прыть-да-Круть
Отомстил ему за сына, прострелив седую грудь.
Эпос длинный, бестолковый, что ни рыцарь, то валет:
Скорбный рот, усы подковой, пика сбоку, ваших нет.

Нижне-южная Европа, полусредние века,
Кожей беглого холопа кроют конские бока.
Горы в трещинах и складках, чтобы было где залечь.
Камнеломная, без гласных, вся из твердых знаков речь.
Мир ночной, анизотропный — там чернее, там серей.
Конь бредет четырехстопный, героический хорей.
Куст черновника чернеет на ощеренной земле,
Мертвый всадник коченеет над расщелиной в седле.
Милосердья кот наплакал: снисхождение — тот же страх.
Лживых жен сажают на кол, верных жарят на кострах.
В корке карста черно-красный полуостров-удалец —
То Вулканский, то Полканский, то Бакланский наконец.

Крут Данила был Великий, удавивший десять жен:
Сброшен с крыши был на пики, а потом еще сожжен.
Крут и Горан, сын Данилы, но загнал страну в тупик,
Так что выброшен на вилы — пожалели даже пик.
Князь Всеволод увековечен — был разрублен на куски:
Прежде выбросили печень, следом яйца и кишки.
Как пройдешься ненароком мимо княжьего дворца —
Вечно гадости из окон там вышвыривают-ца.

Как тут бились, как рубились, как зубились, как дрались!
До песчинок додробились, до лоскутьев дорвались,
Прыть-да-Круть — и тот распался на анклавов Круть да Прыть,
Чье зернистое пространство только флагом и покрыть.

Мусульмане, христиане, добровольцы и вожди
Все сломали, расстреляли, надкусаи и пожгли.
Местность, проклятая чертом (Бог забыл ее давно),
Нынче сделалась курортом: пьет десертное вино,
Завлекает водным спортом, обладает мелким портом,
Населением потертым и десятком казино.

Для того ли пыл азартный чужеземцев потрясал,
Для того ли партизаны истребляли партизан,
Для того ли надо вытечь рекам крови в эту соль,
Стойко Бранич, Гойко Митич, Яйко Чосич, для того ль?
Каково теперь смотреть им на простор родных морей,
Слушать, как пеоном третьим спотыкается хорей?
Вот и спросишь — для того ли умирало большинство,
Чтоб кружилось столько моли? И ответишь: для того.
А чего бы вы хотели? Я б за это умирал,
Если б кто-то эти цели самолично выбирал.
Безвоздушью, безобразью, вере в вотчину и честь
Лучше стать лечебной грязью, какова она и есть —
Черной сущностью звериной, не делящейся на две
Что в резне своей старинной, что в теперешней жратве.

Ты же, вскормленный равниной, клейковиной, скукотой,
И по пьянке не звериной, и с похмелья не святой,
Так и сгинешь на дороге из элиты в мегалит,
Да и грязь твоя в итоге никого не исцелит.

EX PORTLAND *

Он был нам вместо острова Халки и вместо острова Капри:
Его прибой острые капли, базара пестрые тряпки,
Его заборов толстые палки, ослизлого камня смрад,
Его акаций плоские прядки и срам курортных эстрад.

Он был хранилищем наших истин, не новых, но и не стыдных,
Как Чехов, наш таганрогский Ибсен, наш подмосковный
Стриндберг,
Который тут же неподалеку ссыхался не по годам,
Отлично ведая подоплеку отлучек своей мадам.

Здесь доживал он средь гор-громадин, опутанных виноградом,
Но умирать переехал в Баден — не дважды-Баден, а рядом,
Поскольку жизнь — невнятное скотство, а смерть — это честный
спорт,
Поскольку жизнь всегда второсортна, а смерть — это первый сорт.

...Он был нам Ниццей — да что там Ниццей, он был нам вся
заграница —

Такой чахоточный, полунищий, из туфа вместо гранита,
Доступной копией, эпигоном на галечном берегу:
Он был нам Лиссом, и Лиссабоном, и Генуей, и Гель-Гью.

Ведь Наше все, как ссыльная птица, такое невыездное,
Должно же где-нибудь обратиться среди гурзуфского зноя:
— Прощай, свободная ты стихия, сверкающ, многоочит!
Все это мог бы сказать в степи я, но “К морю” лучше звучит.

Прощай, утопия бело-синяя, курортность и ресторанность.
Теперь, с годами, он стал Россией, какой она рисовалась
Из Касабланки или Триеста, и проч. эмигрантских мест.
Для вдохновения нужно место, на коем поставлен крест.

* Цикл Овидия “Ех Ронто” написан на окраине империи, в городе Томы.

Для вдохновения нужно место, куда нам нельзя вернуться —
Во избежанье мести, ареста, безумства или занудства,
И чтоб ты попросту не увидел и не воспел потом,
Как Рим, откуда выслан Овидий, становится хуже Том.

Так вот, он был для нас за границей, а после он стал Россией —
Всегда двоящийся, многолицый, божественно некрасивый,
Его открыточная марина, заемный его прибор —
Легко меняющий властелина, поскольку не стал собой.

Так Эдмунд Кин в театральной байке то Гамлетом, то Отелло
Являлся к знатной одной зазнайке; когда ж она захотела,
Чтоб он явился к ней просто Кином — нашла чего захотеть! —
Он ей ответил с видом невинным: простите, я импотент.

Все время чей-то, носивший маску и сам собой нелюбимый,
Подобно Иксу, подобно Максусу с убогонькой Черубиной,
Подобно ей, сумасшедшей дочке чахоточного отца,
Что не могла написать ни строчки от собственного лица.

Всю жизнь — горчайшая незавидность. Старательно негодуя,
Стремясь все это возненавидеть, на что теперь не иду я!
Так умирающий шлет проклятья блаженному бытию,
Чьей второсортности, о собратья, довольно, не утаю.

Когда на смену размытым пятнам настанет иное зренье,
Каким убожеством суррогатным увижу свой краткий день я!
Какой останется жалкий остов от бывшего тут со мной —
Как этот грязненький полуостров, косивший под рай земной.

А с ним и весь этот бедный шарик, набор неуютных Родин,
Который мало кому мешает, но мало на что пригоден, —
Вот разве для перевода скорби в исписанные листки,
Источник истинно второсортный для первосортной тоски.

ПАМЯТИ БУНЮЭЛЯ

Когда бы я был Испания времен генерала Франко, —
Зараз содержанка старая и старая каторжанка, —
Где был он в функции промысла, вождя и премьер-министра,
Должно быть, я бы подстроился. Наверно, я бы смирился.
Со временем в смысле почерка он стал добрей неокона:
Сажал уже только точно. Пытал уже неохотно.
Фрегат, непривычный к плаванию, давно бы дремал в болоте
И мнил его тихой гаванью в предутренней позолоте.
Когда бы я был Испанией времен генерала Франко,
Со лба бы сошла испарина, закончилась бы болтанка,
Пошла бы в рост экономика, взлетев процентов на триста,
Собор бы привлек паломника, курорт бы привлек туриста,
Медлительные холерики смешали бы хронотопы
Не то Латинской Америки, не то Восточной Европы,
И бывшая эмиграция в припадке тоски и злости,
Смущенно включая рацию, пожаловала бы в гости.

И вот ты прибыл в Испанию эпохи позднего Франко —
Не то монумент исканию, не то консервная банка,
В которой лежит нетронутым задор молодого вздора —
Ты прячешь Анри Бретона там и раннего Сальвадора.
И надо ли было мучиться, коль массой твоих сограждан
Другой вариант их участи решительно не возжаждан?
А сколько всего прекрасного, открытого для показа!
Не бедствует зал Веласкеса. Открылся музей Пикассо.
А что же, Пассионария с ордою бойцов помятых
И прочая вакханалия начала конца тридцатых,
Прыжки из огня да в полымя да вечные эти путчи,
А что, анархисты ПОУМа тебе представлялись лучше?
И вот он бродит по местности, где все наизусть известно,
В сиянье своей известности — сомнительной, если честно, —
Среди журналистов трущихся, терзаясь чувством неясным.
Его бывшая натурщица на рынке торгует маслом,
Была вся огонь, вся грация, а стала дуэнья, сводня —
Естественная, как нация: что в юности, что сегодня.

Когда бы я был Испания времен генерала Франко,
Я б вечно кивал на Сталина, и в этом была бы правда.
Уж если иметь диктатора, то лучше иметь такого —
Конечно, тоже усатого, а все-таки не дракона.
Испания испытание прошла в щадящем режиме —
И Франко был респектабельней, и те, кто ему служили.
Испания есть Испания, предтеча Нового света.
От смерти она избавлена, но вместо нее — вот это.

И вот ты стоишь в Испании, допустим, в семидесятом, —
Что проку было в изгнании, бесплодном и небогатом?
Зачем тебе твое мужество, похожее на занудство?
Ведь главное преимущество — что можно будет вернуться
К любимой земле окисленной, к прохладной полоске пенной,
Почувствовать жизнь бессмысленной, а Родину неизменной:
Испания есть Испания, на карте она, в груди ли,
Снаружи обычно пьяная, но трезвая в середине,
В закатном алом порезе ли, в просвете неба иного, —
Хорошая для поэзии, дурная для остального.
С ее красотами потными, любезными иностранцам, —
Где пахнет дерьмом, животными, ванилью и померанцем,
Испания есть Испания, недвижимая, как эскадра,
Она состоит из калия, она состоит из камня,
Она ничему не учится — в анархии ли, в тюрьме хоть, —
И главное преимущество, что можно опять уехать.

История есть история, все строже, все непреклонней,
Но если уж ты Испания, то лучше быть Каталонией —
Ходячая патология! Невинная одалиска!
Когда б я был Каталония, я тоже бы отделился.

ГРЕЙХАУНД БЛЮЗ

Автобус междугородный, вечерний или ночной,
Его контингент голодный, ничейный и сволочной,
Бездомный и беспородный, свободный и несвободный,
Садовый и огородный, плодовой и овощной.

Грейхаунд набит грехами, и два его этажа
Качаются, громохвая, подпрыгивая, дрожа.
Грейхаунд набит бомжами, подростками, что сбежали,
Блядьми, которых прижали, и хиппи грязней бомжа.

В России такие едут в ЛИАЗе по вздыбленному шоссе,
По Черни, по Черной Грязи, на Каме или Чусе,
От Велеса до Сварога, от Бога и до порога, —
Но в Штатах таких немного, а наши такие все.

В России зима и лето, Находка и Краснодар
Толкают тебя вот в это, влекут тебя под удар,
Толкает каждое слово, и Выхино, и Коньково,
А здесь дойти до такого — потребен особый дар.

Среди отмеченных даром сидит с печальным мальцом
Бабенка с еще не старым, но часто битым лицом —
Спасается ли от обыска, торопится ли из отпуска
Иль просто увозит отпрыска, расставшись с его отцом.

Младенец ее попискивает, стесняясь чужих ушей,
Улыбка ее заискивает, как часто у алкашей,
Чтоб даже из этого транспорта, заспанного и тряского,
Кто-то, не столь потасканный, не выкинул их взашей.

Но стоит кому-то искоса взглянуть на ее дитя,
А может, в порядке искуса, конфету сунуть шутя, —
В ней тут же изоблится затравленная волчица,
Орлица, стальная птица неведомого литья!

Чуть кто-то тронь ее дитяtko — желая ей же помочь, —
Какого бы визга дикого наслушалась эта ночь!
Бывают такие полночи, в каких не бывает помощи:
Проходишь, держась за поручни, запомнишь — и тут же прочь.

Так вот, мой ангел-хранитель, под чьей корявой рукой
Спасается сочинитель, — я думаю, он такой.
Вы локтем его толкаете. Он как бы всегда в нокауте,
Он как бы всегда в Грейхаунде над черной ночной рекой.

Он вечно меня таскает по разным материкам,
Нечасто меня ласкает и часто бьет по рукам,
Одежда его замызганная, улыбка его завистливая,
Он смотрит на всех заискивая, как сука в глаза волкам.

Меня он колотит на людях, чтоб меньше лупил другой,
Скользит на московских наледях кривой своею ногой,
И то — с какого бы горя я видел нечто другое?
Изгоя в стране-изгое спасает ангел-изгой.

Но если какая-то цаца нынче же или впредь
Захочет ко мне прикоснуться или как-то не так смотреть,
Прельстившись бедностью этою, — ох, как я вам не советую!
Лучше б вам не рождаться или сразу же помереть.

КАЛИФОРНИЙСКИЙ БЛЮЗ

Кафе такого типа, такого духа, такого вида,
Где скука воняет пронзительней, чем еда,
В котором мог бы сидеть борец-певец из третьего мира,
В последний миг улизнувший из-под суда.
Он думал сказать там речь, манифест несогласия, хули-гули,
Миру явить отвагу свою и месть,
Однако друзья из ближайших слуг ему намекнули,
Что он действительно может сесть.
Он даже был бы готов ненадолго сесть,
И даже надолго сесть,
Поскольку тут замешана честь,
Но он подумал, что это такая жесьь,
Которой ему не снесть,
И предпочел на рожон не лезть.
Нерябины выносима же мысль,
что сейчас еще можешь туда-обратно,
Свободен куда угодно пойти и сбечь,
А завтра провалишься в бездну, и хуже — в яму, и непонятно,
Кого зажгла бы такая речь.
Добро бы там еще были люди-дрова,
На них бы действовали слова,
Но там же один кизяк, и если бросить его в огонь —
Не будет жа ра, а только вонь.
И вот он в последний миг забывает связи, долги, преграды,
Бойтся найти свои данные в стоп-листе,
Трепещет на спецконтроле, но там, он чувствует, только рады —
В побеге он им милее, чем на кресте.
Теперь он сидит в кафе, кругом Калифорния, жаркий запад,
Ни багажа, ни денег, ни языка,
Посуда из-под фастфуда, мутные стекла, тепло и запах,
Какие бывают от очень хорошего кизяка.
Свободен от всех угроз, от гражданских поз, вообще от Бога,
Который раньше за ним присматривал строго,
Но тут отвлекся и перестал, —
И главное, их таких набирается очень много,

Им стыдно, уютно, тепло, убого,
Как было в Гурзуфе в кафе “Кристалл”.
Вот пара — сбежать хотела и не сбежала,
Рожать хотела и не рожала.
А вот — нашел себя и убрал под спуд...
Торчу в их обществе целый день я,
Вдыхая уют паденья, уют паденья.
Они молчат и едят фастфуд.
Что значит запах фастфуда, запах фастфуда
И музыка там, где за грош его продают?
Они говорят, что нам не уйти отсюда.
И в этом тоже, страшно сказать, уют.
Уют паденья окутал их, словно дымом,
Ненасытимым, неутомимым.
Деваться некуда, ты устал,
И с Крымом случилось то, что случилось с Крымом.
Сопротивляться никто не стал,
Закрылось только кафе “Кристалл”.
И я там торчу без цели на самом деле,
Надеясь догнать, от какой разборки, с какой дуэли
Я в прежней жизни сбежал, разозлив Христа,
В какой любви или роли не состоялся,
Что неизъяснимое постоянство
Приводит меня в такие места.

За мутным окном жара и ровное море того же цвета,
Который даже не ведаю, с чем сравню —
С обложкой изорванного журнала в сортире этого же буфета:
На пляже позирует инженеру, вероятно, ню.
Разбавленное дождями, растраченное на взгляды,
Поблекшее так, что стыдно признаться вслух.
Таким его видит подросток, сбежавший из вечно сухой Невады
В город, где нет ничего портового, кроме шлях.
Он бросил дома семью, унылую, как склероз,
Равнину плоскую, как поднос,
Теперь жалеет о ней до слез.
Я, то есть он, торгую невкусным, слушаю блюз.

По логике, надо бежать в Советский Союз.
 Но Советский Союз накрылся — я остаюсь.
 Подумать страшно — вернуться к своим коровам,
 Остаться у моря — страшнее: он зол и нищ.
 И чем же я в прежней жизни так очарован,
 Что нынче разочарован, как этот хлыщ?
 Какая там жизнь была — на горном курзале, морском вокзале,
 Чем я томился, мучился и блистал,
 Чего мне такого там обещали, там показали,
 Что нынче я всюду вижу кафе “Кристалл”?

Потом наступает ночь — не пешком,
 как тут, а как в джунглях — сразу,
 Закат за час лиловет и тонет, быстр.
 Запах еды и скуки, дневную фазу, пустую фразу
 Влажная тьма переводит в иной регистр.
 Во тьме и запах земных уродин, и запах подводных гадин,
 И лязг моторов, бодрствующих в порту, —
 Не то что более благороден, но более беспощаден.
 А что мы еще принимаем за красоту?
 Такая, такая тьма, в которой и я непременно буду.
 В которой идет и шатается наугад
 Покинутый всеми, изгнанный отовсюду
 Былой герой, соблазнитель, растлитель, хват.
 А рядом бредет, его подпирая телом,
 Заботлива, некрасива, невелика.
 Мулатка, им соблазненная между делом, —
 Всю жизнь его обожала издалека.
 И вот, когда он стал никому не нужен,
 Когда его проклял сын, прогнала жена, —
 Она объявилась, стала с ним жить, как с мужем,
 Выводит гулять, когда спадает жара.
 Я, то есть он, брожу теперь вдоль обочин
 Дорог, по которым прежде летал в авто.
 Мне, если честно, она и теперь не очень,
 Но больше со мной теперь никогда, никто.
 И вот, почти осязаемо окружая,

Шуршит надо мной, как пальмовая листва,
Облако темного влажного обожанья
И, страшно сказать, подспудного торжества.
Еще бы ей теперь не торжествовать,
Когда мне осталось нехотя доживать,
По душным ночам опускаясь в ее кровать!
Дезертир от судьбы, призвания и суда,
Книжный подросток, захавший не туда,
Заложник чужой любви, сгорающий со стыда.
И надо ли было двигаться в Сан-Франциско,
Чтобы во мне проснулись эти же господа?
Можно было поехать не далеко, а близко,
Или вообще не трогаться никуда.

СВЕЖЕСТЬ

*“Бабах! из логова германских гадов
Слышны разрывы рвущих их снарядов,
И свист ужасный воздух наполняет,
Куски кровавых гуннов в нем летают”.*
Эдвард Стритер (пер. И. Л.)

Люблю тебя, военная диорама,
Сокровище приморского городка,
Чей порт — давно уже свалка стального хлама,
Из гордости не списанного пока.

Мундир пригнан, усы скобкой, и все лица
Красны от храбрости и счастья, как от вина.
На горизонте восходит солнце Аустерлица,
На правом фланге видны fleши Бородина.

Люблю воинственную живость, точней — свежесть.
Развернутый строй, люблю твой строгий, стройный вид.
Швед, русский, немец — колет, рубит, скрежет,
И даже жид чего-то такое норовит.

Гудит барабан, и флейта в ответ свистит и дразнится.
Исход батальи висит на нитке ее свистка.
— Скажи, сестра, я буду жить? — Какая разница,
Зато взгляни, какой пейзаж! — говорит сестра.

Пейзаж — праздник: круглы, упруги дымки пушек.
Кого-то режет бодрый медик Пирогов.
Он призывает послать врагу свинцовых плюшек
И начиненных горючей смесью пирогов.

На правом фланге стоит Суворов дефис Нахимов,
Сквозь зубы Жуков дефис Кутузов ему грубит,
По центру кадра стоит де Толли и, плащ накинув,
О чем-то спорит с Багратионом, но тот убит.

Гремит гулко, орет браво, трещит сухо.
Японцы в шоке. Отряд китайцев бежит вспять.
Бабах слева! бабах справа! Хлестнул ухо
Выстрел, и тут же ему в ответ хлестнули пять.

На первом плане мы видим подвиг вахмистра Добченко:
Фуражка сбита, грудь открыта, в крови рот.
В чем заключался подвиг — забыто, и это, в общем-то,
Не умаляет заслуг героя. Наоборот.

На среднем плане мы видим прорыв батареи Тушина,
Тушин сидит, пушки забыв, фляжку открыв.
Поскольку турецкая оборона и так разрушена,
Он отказался их добивать, и это прорыв.

На заднем плане легко видеть сестру Тату —
Правее флешей Бородина, левой скирд.
Она под вражеским огнем дает солдату:
Один считает, что наркоз, другой — что спирт.

Вдали — море, лазурь зыби, песок пляжей,
Фрегат “Страшный” идет в гавань: пробит ют.
Эсминец “Наш” таранит бок миноносцу “Вражий”,
А крейсер “Грек” идет ко дну, и все поют.

Свежесть сражения! Праздник войны! Азарт свободы!
Какой блеск, какой густой голубой цвет!
Курортники делают ставки, пьют воды.
Правее вы можете видеть бар “Корвет”.

Там к вашим услугам охра, лазурь, белила,
Кровь с молоком, текила, кола, квас,
Гибель Помпеи, взятие Зимнего, штурм Берлина,
Битва за Рим: в конечном итоге все для вас.

Вот так, бывало, зимой, утром, пока молод,
Выходишь из дома возлюбленной налегке —

И свежесть смерти, стерильный стальной холод
Пройдет, как бритва, по шее и по щеке.

“Пинь-пинь-тарарах!” — звучит на ветке.

Где твое жало,

Где твоя строгость, строгая госпожа?

Все уже было, а этого не бывало.

Жизнь — духота. Смерть будет нам свежа.

Старые СТИХИ

ВОСЕМНАДЦАТАЯ БАЛЛАДА

Из французских полотен люблю, не шутя лишь картину
"Балованное дитя". Написал ее Грез, или правильной — Грез.
Я люблю ее прямо до слез. Репродукция эта, бледна и блекла,
без какой-либо рамы и даже стекла, украшает собою московский
кабак для окрестных дворовых собак, для поживших, облезлых,
заслуженных псов, что бухать начинают в двенадцать часов; из
закусок имеются пхали и сыр, из обслуги — оплывший кассир.
Завсегдатаи, длящие медленный спор, поднимают порою
мутящийся взор на картину, висящую в правом углу, —
и в груди ощущают иглу.

На картине, как знает, наверно, любой, симпатичный ребенок,
довольный собой, угощает собаку дворовых кровей из
фарфоровой ложки своей. Происходит все это в уютном доме
(дортюар или кухонька — сам не пойму), где хозяин, должно быть,
доволен женой: хоть бардак, но живой и жилой. На ребенка,
что тратит избыток еды, потому что не чувствует грядущей беды,
снисходительно смотрит умильная мать и не смеет его унимать.
О, я знаю улыбку безвольную ту, что приводит в безумие
и нищету, что и дом, и мужей, и спасательный круг выпускать
заставляет из рук; эти ямочки знаю на пухлом лице, что всегда
говорят об ужасном конце, о готовности сдаться без жалоб и драк,
лишь бы только кричали не так; о способности даже в позоре,
на дне, лепетать, вышивать, улыбаться родне, сочинять утешенья
сынку по ночам, умиляться смешным мелочам; где ей спорить,
бороться, скреплять времена, если сына не может заставить она
отогнать от тарелки лизучего пса и спокойно поесть полчаса?
О, я знаю, что маленькой этой рукой можно вышить наряд и
такой, и сякой, и белье полоскать, и тюки разгружать, но нельзя
ничего удержать. О, я знаю и то, что стараюсь вотще, что нельзя
никого уберечь вообще, что нельзя ничего удержать на цепи,
хоть горстями швыряй, хоть копи, потому что всегда впереди
ураган, перегон, Магадан, гегемон, уркаган, проституция грез,
революция роз (под конец разорился и Грез)... Но и в самом
укромном и мирном краю никому не объехать родную, свою,

что стоит у ворот, выжидает черед и без пафоса все отберет.
С детских лет мне мучительно видеть уют: все мне кажется —
черные волны встают, и шатаются стены — сомнительный щит,
и убогая кухня трещит; всем под ветром стонать на просторе
пустом, мир, как дверь из легенды, помечен крестом, и на
каждом пути воздвигается крест...
Так уж пусть хоть собачка поест.

БЛАЖЕНСТВО

Блаженство — вот: окно июньским днем,
И листья в нем, и тени листьев в нем,
И на стене горячий, хоть обжечься,
Лежит прямоугольник световой
С бесшумно суевающейся листвой,
И это знак и первый слой блаженства.

Быть должен интерьер для двух персон,
И две персоны в нем, и полусон:
Все можно, и минуты как бы каплют,
А рядом листья в желтой полосе,
Где каждый вроде мечется — а все
Ликуют или хвалят, как-то так вот.

Быть должен двор, и мяч, и шум игры,
И кроткий, долгий час, когда дворы
Еще шумны, и скверы многолюдны:
Нам слышно все на третьем этаже,
Но апогеи пройдены уже.
Я думаю, четыре пополудни.

Но в это сложно входит третий слой,
Не свой, сосредоточенный и злой,
Без имени, без мужества и женства —
Закат, распад, сгущение теней,
И смерть, и все, что может быть за ней,
Но это не последний слой блаженства.

А вслед за ним — невинна и грязна,
Полуразмыта, вне добра и зла,
Тиха, как нарисованное пламя,
Себя дает последней угадать
В тончайшем равновесье благодать,
Но это уж совсем на заднем плане.

ДЕПРЕССИЯ

Депрессия — это отсутствие связи.
За окнами поезда снега — как грязи,
И грязи — как снега зимой.
В соседнем купе отходняк у буржуев.
Из радиоточки сипит Расторгуев,
Что скоро вернется домой.

Куда он вернется? Сюда, вероятно.
По белому фону разбросаны пятна.
Проехали станцию Чернь.
Деревни, деревья, дровяник, дворняга,
Дорога, двуроги, дерюга, деляга —
И все непонятно зачем.

О как мне легко в состоянии этом
Рифмуется! Быть современным поэтом
И значит смотреть свысока,
Как поезд ползет по долинам лоскутным,
Не чувствуя связи меж пунктом и пунктом,
Змеясь, как струна без колка.

Когда-то все было исполнено смысла —
Теперь же она безнадежно повисла,
И словно с веревки белье,
Все эти дворняги, деляги, дерюги,
Угорцы на севере, горцы на юге —
Бессильно скатились с нее.

Когда-то и я, уязвимый рассказчик,
Имел над собою незримый образчик
И слышал небесное чу,
Чуть слышно звучащее чуждо и чудно,
И я ему вторил, и было мне трудно,
А нынче пиши — не хочу.

И я не хочу и в свое оправданье
Ловлю с облегченьем черты увяданья,
Приметы последних примет:
То справа ударит, то слева проколет.
Я смерти боялся, но это проходит,
А мне-то казалось, что нет.

Пора уходить, отвергая подачки.
Вставая с колен, становясь на карачки,
В потешные строясь полки,
От этой угрюмой, тупой раздолбайки,
Умеющей только затягивать гайки, —
К тому, кто подтянет колки.



Вынь из меня все это — и что останется?
Скучная жизнь поэта, брюзга и странница.
Эта строка из Бродского, та из Ибсена —
Что моего тут, собственно? Где я истинный?
Сетью цитат опутанный ум ученого,
Биомодель компьютера, в сеть включенного.
Мерзлый автобус тащится по окраине,
Каждая мелочь плачется о хозяине,
Улиц неподвижность идолья, камни, выдолбы...
Если бы их не видел я — что я видел бы?
Двинемся вспять — и что вы там раскопаете,
Кроме желанья спать и культурной памяти?
Снежно-тускла, останется мне за вычетом
Только тоска — такого бы я не вычитал.

Впрочем, ночные земли — и эта самая —
Залиты льдом не тем ли, что и тоска моя?
Что этот вечер, как не пейзаж души моей,
Силюю речи на целый квартал расширенный?
Всюду ее отраженья, друзья и сверстники,
Всюду ее продолженья другими средствами.
Звезды, проезд Столетова, тихий пьяница.
Вычесь меня из этого — что останется?



Снова таянье, маянье, шорох,
Лень и слабость начала весны:
Словно право в пустых разговорах
Нечувствительно день провести.

Хладноблещущий мрамор имперский,
Оплывая, линия, гния,
Превратится в тупой, богомерзкий,
Но живительный пир бытия.

На свинцовые эти белила,
На холодные эти меха
Поднимается равная сила
(Для которой я тоже блоха).

В этом есть сладострастие мести —
Наблюдать за исходами драк,
И подпрыгивать с визгом на месте,
И подзуживать: так его, так!

На Фонтанке, на Волге и Каме,
Где чернеют в снегу полыньи,
Воздается чужими руками
За промерзшие кости мои.

Право, нам ли не ведать, какая
Разольется вселенская грязь,
Как зачавкает дерн, размокая,
Снежно-талою влагой давясь?

Это пир пауков многоногих,
Бенефис комаров и червей.
Справедливость — словцо для убогих.
Равновесие — это верней.

Это оттепель, ростепель, сводня,
Сор и хлам на речной быстрине,
Это страшная сила Господня,
Что на нашей пока стороне.



Он так ее мучит, как будто растит жену.
Он ладит ее под себя: под свои пороки,
Привычки, страхи, веснушчатость, рыжину.
Муштрует, мытарит, холит, дает уроки.

И вот она приручается — тем верней,
Что мы не можем спокойно смотреть и ропщем;
Она же видит во всем заботу о ней.
Точнее, об их грядущем — понятно, общем.

Он так ее мучит, жучит, костит, честит,
Он так ее мучит — прицельно, умно, пристрастно, —
Он так ее мучит, как будто жену растит.
Но он не из тех, кто женится: это ясно.

Выходит, все это даром: “Анкор, анкор,
Ко мне, ко мне!” — переливчатый вопль тарзаний,
Скандалы, слезы, истерики, весь декор,
Приходы, уходы и прочий мильон терзаний.

Так учат кутить обреченных на нищету.
Так учат наследного принца сидеть на троне —
И знают, что завтра трон разнесут в щепу,
Сперва разобравшись с особами царской крови.

Добро бы на нем не клином сошелся свет
И все пригодилось с другим, на него похожим, —
Но в том-то вся и беда, что похожих нет,
И он ее мучит, а мы ничего не можем.

Но что, если вся дрессура идет к тому,
Чтоб после позора, рева, срыва, разрыва
Она взбунтовалась — и стала равна ему,
А значит, непобедима, неуязвима?

И все для того, чтоб, отринув соблазн родства,
Давясь слезами, пройдя километры лезвий,
Она до него доросла — и переросла,
И перешагнула, и дальше пошла железной?

А он останется — сброшенная броня,
Пустой сосуд, перевернутая страница.
Не так ли и Бог испытывает меня,
Чтоб сделать себе подобным — и устранишься,
Да все не выходит?

ПЯТАЯ БАЛЛАДА

Я слышал, особо ценится средь тех, кто бит и клеймен,
Пленник (и реже — пленница), что помнит много имен.
Блатные не любят грамотных, как большая часть страны,
Но этот зовется “Памятник”, и оба смысла верны.
Среди зловонного мрака, завален чужой тоской,
Ночами под хрип барака он шепчет перечень свой:
Насильник, жалобщик, нытик, посаженный без вины,
Сектант, шпион, сифилитик, политик, герой войны,
Зарезал жену по пьяни, соседу сарай поджег,
Растлил племянницу в бане, дружка пришил за должок,
Пристрелен из автомата, сошел с ума по весне...

Так мир кидался когда-то с порога навстречу мне.
Вся роскошь воды и суши, как будто в последний раз,
Ломилась в глаза и уши: запомни и нас, и нас!
Как будто река, запруда, жасмин, левкой, резеда —
Все знали: вырвусь отсюда; не знали только, куда.
Меж небом, водой и сушей мы выстроим зыбкий рай,
Но только смотри и слушай, но только запоминай!
Я дерево в центре мира, я куст с последним листом,
Я инвалид из тира, я кот с облезлым хвостом,
А я — скрипучая койка в доме твоей дорогой,
А я — троллейбус такой-то, возивший тебя к другой,
А я, когда ты погибал однажды, устроил тебе ночлег —
И канул мимо, как канет каждый. Возьми и меня в ковчег!
А мы — тончайшие сущности, сущности, плоти мы лишены,
Мы резвиться сюда отпущены из сияющей вышины,
Мы летим в ветровом потоке, нас несет воздушный прибор,
Нас не видит даже стокий, но знает о нас любой.

Но чем дольше я здесь ошиваюсь — не ведаю, для чего, —
Тем менее ошибаюсь насчет себя самого.
Вашей горестной вереницы я не спас от посмертной тьмы,
Я не вырвусь за те границы, в которых маемся мы.

Я не выйду за те пределы, каких достигает взгляд.
С веткой тиса или омелы голубь мой не летит назад.
Я не с теми, кто вносит правку в бесконечный реестр земной.
Вы плохую сделали ставку и умрете вместе со мной.

И ты, чужая квартира, и ты, ресторан “Восход”,
И ты, инвалид из тира, и ты, ободранный кот,
И вы, тончайшие сущности, сущности, слетавшие в нашу тьму,
Которые правил своих ослушались, открывшись мне одному.
Но когда бы я в самом деле посягал на пути планет
И не замер на том пределе, за который мне хода нет,
Но когда бы соблазн величья предпочел соблазну стыда, —
Кто бы вспомнил ваши обличья? Кто увидел бы вас тогда?
Вы не надобны ни пророку, ни водителю злой орды,
Что по Западу и Востоку метит кровью свои следы.
Вы мне отданы на поруки — не навек, не на год, на час.
Все великие близоруки. Только я и заметил вас.

Только тот тебя и заметит, кто с тобою вместе умрет —
И тебя, о мартовский ветер, и тебя, о мартовский кот,
И вас, тончайшие сущности, сущности, те, что парят, кружа,
Не выше дома, не выше, в сущности, десятого этажа,
То опускаются, то подпрыгивают, то в проводах поют,
То усмеваются, то подмигивают, то говорят “Салют!”

ДЕВЯТАЯ БАЛЛАДА

Не ездят, Байрон, в Миссолунги.
Война — не место для гостей.
Не ищут, барин, в мясорубке
Высоких смыслов и страстей.
Напрасно, вольный сын природы,
Ты бросил мирное житье,
Ища какой-нибудь свободы,
Чтобы погибнуть за нее.
Поймешь ли ты, переезжая
В иные, лучшие края:
Свобода всякий раз чужая,
А гибель всякий раз своя?
Направо грек, налево турок,
И как душою ни криви —
Один дурак, другой придурок
И оба по уши в крови.
Но время, видимо, пришло
Накинуть плащ, купить ружье
И гибнуть за чужое дело,
Раз не убили за свое.

И вот палатка, и желтая лихорадка,
Никакой дисциплины вообще, никакого порядка,
Порох, оскаленные зубы, грязь, жара,
Гречанки носаты, ноги у них волосаты,
Турки визжат, как резаные поросыты,
Начинается бред, опускается ночь, ура.

Американец под Уэской,
Накинув плащ, глядит во тьму.
Он по причине слишком веской,
Но непонятной и ему,
Явился в славный край корриды,
Где вольность испускает дух.
Он хмурит брови от обиды,

Не формулируемой вслух.
Легко ли гордому буржую
В бездарно начатом бою
Сдыхать за родину чужую,
Раз не убили за свою?
В горах засел республиканец,
В лесу скрывается франкист —
Один дурак, другой поганец
И крепко на руку нечист.
Меж тем какая нам забота,
Какой нам прок от этих драк?
Но лучше раньше и за что-то,
Чем в должный срок за просто так.

И вот Уэска, режет глаза от блеска,
Короткая перебежка вдоль перелеска,
Командир отряда упрям и глуп, как баран,
Но он партизан, и ему простительно,
Что я делаю тут, действительно,
Лошадь пала, меня убили, но пасаран.

Всю жизнь, кривясь, как от ожога,
Я вслушиваюсь в чей-то бред.
Кругом полным-полно чужого,
А своего в помине нет.
Но сколько можно быть над схваткой,
И упиваться сбором трав,
И убеждать себя украдкой,
Что всяк по-своему неправ?
Не утешаться же наивным,
Любимым тезисом глупцов,
Что дурно все, за что мы гибнем,
И надо жить, в конце концов?
Какая жизнь, я вас умоляю?!
Какие надежды на краю?
Из двух неправд я выбираю
Наименее не мою —

Потому что мы все невольники
Чести, совести и тэ пэ —
И, как ямб растворяется в дольнике,
Растворяюсь в чужой толпе.

И вот атака, нас выгнали из барака,
Густая сволочь шумит вокруг, как войско мрака,
Какой-то гопник бьет меня по плечу,
Ответственность сброшена, точнее сказать, перевалена.
Один кричит — за русский дух, другой — за Сталина,
Третий, зубы сжав, молчит, и я молчу.



Отними у слепого старца собаку-поводыря,
У украинного переулка — свет последнего фонаря,
Отними у последних последнее, попросту говоря,
Ни мольбы не слушая, ни обета,
У окруженного капитана — его маневр,
У прожженного графомана — его шедевр,
И тогда, может быть, мы не будем больше терпеть
Все это.

Если хочешь нового мира — отважной большой семьи,
Не побрезгуй рубищем нищего и рванью его сумы,
Отмени снисхождение, вычти семь из семи,
Отними (была такая конфета)
У отшельников — их актинии, у монахов — их ектеньи,
Отними у них то, за что так цепляются все они,
Чтобы только и дальше терпеть
Все это.

Как-то много стало всего — не видать основ.
Все вцепились в своих домашних волов, ослов,
Подставляют гузно и терпят дружно,
Как писала одна из этого круга ценительниц навьих чар,
“Отними и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар”,
Что исполнилось даже полней, чем нужно.

С этой просьбой нет проволочек: скупой уют
Отбирают куда охотнее, чем дают,
Но в конце туннеля, в конце ли света —
В городе разоренном вербуют девок для комполка,
Старик бредет по вагонам с палкой и без щенка,
Мать принимает с поклоном прах замученного сына,
И все продолжают терпеть
Все это.

Помню, в госпитале новобранец, от боли согнут в дугу,
Отмудохан дедами по самое не могу,
Обмороженный, ночь провалявшийся на снегу,
Мог сказать старшине палаты — подите вы, мол, —
Но когда к нему, полутрупы, направились два деда
И сказали: боец, вот пол, вот тряпка, а вот вода, —
Чего б вы думали, встал и вымыл.

Неужели, когда уже отняты суть и честь
И осталась лишь дребезжащая, словно жесьь,
Сухая, как корка, стертая, как монета,
Вот эта жизнь, безропотна и длинна,
Надо будет отнять лишь такую дрянь, как она,
Чтобы все они перестали терпеть
Все это?



Перед каждой весной с пестротой ее витражовой,
Перед каждой зимой с рукавицей ее ежовой,
И в начале осеннего дня с тревожной его изжогой,
Да чего там — в начале каждого дня
Я себя чувствую словно в конце болезни тяжелой,
В которой ни шанса не было у меня.

Мне хочется отдышаться.
В ушах невнятная болтовня.
Ни шанса, я говорю, ни шанса.
Максимум полтора.
В воздухе за окном тревога и сладость.
Покачиваясь, вышагиваю по двору.
Я чувствую жадность.
За ней я чувствую слабость.
Я чувствую силу, которую завтра я наберу.

Воздух волен.
Статус неопределен.
Чем я был болен?
Должно быть, небытием.

Прошлое помнится как из книжки.
Последние дни — вообще провал.
Встречные без особой любви говорят мне “Ишь ты”.
Лучше бы я, вероятно, не выживал.
Не то что я лишний.
Не то чтобы злобой личной
Томился тот, а тайной виной — иной:
Так было логичней.
Так было бы элегичней.
Теперь вообще непонятно, как быть со мной.

И я сам это знаю, гуляя туда-обратно,
По мокрому снегу тропу себе проложив.

Когда бы я умер, было бы все понятно.
Все карты пугает то, что я еще жив.
Я чувствую это, как будто вошел без стука
Туда, где не то что целуются — эка штука! —
Но просто идет чужой разговор чужих,
И легкая скука,
Едва приметная скука
Вползает в меня и мухой во мне жужжит.

Весенний вечер.
Свеченье, виолончель.
Я буду вечен.
Осталось понять, зачем.

Закат над квадратом моим дворовым.
Розовость переливается в рьжину.
Мне сладко, стыдно.
Я жаден, разочарован.
Мне несколько скучно.
Со всем этим я живу.

ПЯТНАДЦАТАЯ БАЛЛАДА

Если б был я Дэн Браун — давно бы уже
Подошел бы к профессии правильно.
Вот идея романа, на чьем тираже
Я нажился бы круче Дэн Брауна.
Но роман — это время, детали, слова,
А с балладою проще управиться.
Начиналось бы так: Патриарх и Глава
Удаляются в баню.
Попариться.

(Происходит все это не в нашей стране,
Не на нашей планете, а где-то вовне.)

Разложив на полке мускулистую плоть
И дождавшись, пока разогреется,
Президент бы спросил его:
— Есть ли Господь?
Патриарх бы сказал:
— Разумеется.

Президент бы промолвил:
— Я задал вопрос,
Но остался, похоже, непонятым.
Патриарх бы ответил:
— Ну если всерьез,
То, естественно, нету. Какое там!

Президент бы его повалил, придавил
И сказал:
— Я с тобой не щучу. Уловил?
Жаркий воздух хватая, тараща глаза,
Патриарх бы сознался безрадостно:
— Ну за что ты меня?
Я не знаю... не зна...

Президент бы сказал:
— Мы дознаемся.

И ушел бы приказ по спецслужбам страны:
Оторваться на месяц от всякой войны,
От соседских разведок, подпольных врагов
И от внешнего, злобу таящего,
Разыскать,
Перечислить наличных богов
И найти среди них настоящего —
Меж мечетей, меж пагод, меж белых палат...
Не впервой им крамолу откапывать!
Ведь нашли же однажды.
А Понтий Пилат
Был не лучше, чем наши, уж как-нибудь.

И пойдет панорама таинственных вер:
Вудуист, например,
Синтоист, например...
Это сколько же можно всего описать!
И мулатку, и немку прелестную,
И барочный фасад,
И тропический сад,
И Мурано, и Бонн, и Флоренцию!
Промелькнул бы с раскрашенным бубном шаман
И гречанка с Афиной Палладою...
Но зачем мне писать бесконечный роман,
Где отделаться можно балладою?

И, обшарив сакральные точки Земли,
Возвратятся герои в песке и пыли,
Из метели и адского печева,
И признаются:
— Мы ничего не нашли.
А докладывать надо.
А нечего.

И возьмут они первого встречного — ах! —
Да вдобавок еще и калечного — ах! —
И посадят без всякого повода,
И хватают его, и пытаются его,
И в конце уже богом считают его,
Ибо верят же все-таки в Бога-то!
И собьют его с ног,
И согнут его в рог,
Ибо дело действительно скверное, —
И когда он под пыткой признает, что Бог,
Он и будет тем Богом, наверное.
Покалечат его,
Изувечат его,
А когда он совсем покалечится —
То умрет под кнутом,
И воскреснет потом,
И, воскреснув, спасет человечество.

И начальство довольно —
Не в первый же раз
Предъявлять бездыханное тело им.
Неизменный закон торжествует у нас:
Если Господа нету,
То сделаем.

И случится просвет
На две тысячи лет,
А иначе бы полная задница,
Потому что ведь Бога действительно нет,
Пока кто-то из нас
Не осознается.



Вечерняя бухта — четыре холма —
Извилиста, илиста, глиниста, мглиста,
И вся ее гулкая чаша полна
Закатного света и птичьего свиста.

Вернувшись к исходу весеннего дня
В ее трехсторонний развернутый складень,
Рассевшись по веткам, галдя, гомоня,
Они обсуждают, что видели за день.

Возня, болтовня, перекличка, обмен:
— Мы видели степь с высоты перелета!
Мы видели крабов, русалок, сирен! —
Мы видели то-то! — Мы слышали то-то!

Но запахи резче, бледнее цвета —
И в гомоне их, беззаботном сначала,
Все явственней нота тревожная та,
Что в смехе чахоточных женщин звучала.

Как будто пронесся тревожный флюид —
Укрылся в листву, как огонь под поленья.
И странен контраст меж невинным “фьюить” —
И яростной силой его повторенья.

Последняя вспышка, предсмертный азарт —
И кроны звенят лихорадочным гвалтом:
Им хочется главное вслух досказать,
Но что напоследок окажется главным?

Чего второпях не припомнили мы?
Жара, синева, перепалка, охота...
Всего-то и крикнешь в преддверии тьмы:
— Мы видели то-то! Мы слышали то-то!

...Туманится, стелется вязкий уют.
Усталая птаха не чувствует страха.
Все тише поют, и носами клюют,
И ночь надвигается, как черепаха,

На писк и сумятицу звуков дневных;
И если у птицы бывает зевота —
То нечто подобное слышится в них:
— Мы видели то-то...
— Мы слышали то-то...

И все затихает. Лишь море порой
Плеснет посильней — и опять залоснится.
И тут просыпается в кроне сырой
Одна уже было заснувшая птица.

Очнувшись, она напрягает зрачок
И видит повсюду зиянье провала.
Ее разбудил непонятный толчок:
Я в детстве уже забывался, бывало, —

И полночь будила меня, как хлыстом,
Навстречу какому-то страшному чуду,
И я вспоминал на секунду о том,
О чем я теперь и на миг не забуду.

Нездешние запахи. Травы в росе.
Не греет, а студит полночное солнце.
И ясно уже, что проснутся не все,
А может, и вовсе никто не проснется.

Не чая спасенья, не видя защит,
Как путник, в ночи угодивший в болото,
В последнем порыве она верещит:
— Я видела то-то! Я слышала то-то!

И тут же, потратив последнюю мочь,

Свое чик-чирик повторив на пределе,
Она, как и все, погружается в ночь.
А что еще крикнешь, на самом-то деле?

И что остается еще за душой
От неба, воды, янтаря, изумруда,
И всей этой бухты, такой небольшой,
Особенно если глядеть не отсюда?

СУМЕРКИ ИМПЕРИИ

*“Назавтра мы идем в кино —
Кажется, на Фосса. И перед сеансом
В фойе пустынно и темно”.*

И. Богушевская

Мы застали сумерки империи,
Дряхлость, осыпанье стилия вамп.
Вот откуда наше недоверие
К мертвенности слишком ярких ламп,
К честности, способной душу вытрясти,
К ясности открытого лица,
Незашторенности, неприкрытости,
Договоренности до конца.

Ненавидя подниматься затемно,
В душный класс по холоду скользя,
То любил я, что необязательно,
А не то, что можно и нельзя:
Легкий хмель, курение под лестницей,
Фонарей качание в окне,
Кинозалы, где с моей ровесницей
Я сидел почти наедине.

Я любил тогда театры-студии
С их пристрастьем к шпагам и плащам,
С ощущеньем подступа, прелюдии
К будущим неслыханным вещам;
Все тогда гляделось предварением,
Сдваивалось, пряталось, вилось,
Предосенним умиротворением
Старческим пронизано насквозь.

Я люблю район метро “Спортивная”,
Те дома конца сороковых.
Где Москва, еще малоквартирная,

Расселяла маршалов живых.
Тех строений вид богооставленный,
Тех страстей артиллерийский лом,
Милосердным временем расплавленный
До умильной грусти о былом.

Я вообще люблю, когда кончается
Что-нибудь. И можно не спеша
Разойтись, покуда размягчается
Временно свободная душа.
Мы не знали бурного отчаянья —
Родина казалась нам тогда
Темной школой после окончания
Всех уроков. Даже и труда.

Помню — еду в Крым, сижу ли в школе я,
Сны ли вижу, с другом ли треплюсь —
Все на свете было чем-то более
Видимого: как бы вещью плюс.
Все застыло в призрачной готовности
Стать болотом, пустошью, рекой,
Кое-как еще блюдя условности,
Но уже махнув на все рукой.

Я не свой ни белому, ни черному,
И напора, бьющего ключом,
Не терплю. Не верю изреченному
И не признаюсь себе ни в чем.
С той поры меня подспудно радуют
Переходы, паузы в судьбе.
А и Б с трубы камнями падают.
Только И бессменно на трубе.

Это время с нынешним, расколотым,
С этим мертвым светом без теней,
Так же не сравнится, как pre-coitum
И post-coitum; или верней,

Как отплыть в Индию — с прибытием,
Или, если правду предпочесть,
Как соборование — со вскрытием:
Грубо, но зато уж так и есть.

Близость смерти, как она ни тягостна,
Больше смерти. Смерть всегда черства.
Я и сам однажды видел таинство
Умирения как торжества.
Я лежал тогда в больнице в Кунцево,
Ждал повестки, справки собирал.
Под покровом одеяла куцего
В коридоре старец умирал.

Было даже некое величие
В том, как важно он лежал в углу.
Капельницу сняли (“Это лишнее”)
И из вены вынули иглу.
Помню, я смотрел в благоговении,
Как он там хрипел, еще живой.
Ангелы невидимые веяли
Над его плешивой головой.

Но как жалок был он утром следующим.
В час, когда, как кучу баракла,
Побранившись с яростным заведующим,
В морг его сестра отволокла!
Родственников вызвали заранее.
С неба лился серый полусвет.
Таинство — не смерть, а умирание.
Смерть есть плоскость. В смерти тайны нет.

Вот она лежит, располованная,
Безнадежно мертвая страна —
Жалкой похабенью изрисованная
Железобетонная стена,

Ствол, источенный до основания,
Груда лома, съеденная ржой,
Сушь во рту и стыд неузнавания
Серым утром в комнате чужой.

Это бездна, вмятая, измеренная
В глубину, длину и ширину.
Мелкий снег и тишина растерянная.
Как я знаю эту тишину!
Лужа замерзает, арка скалится,
Клонятся фонарные столбы,
Тень от птицы по снегу пластается,
Словно И, упавшее с трубы.

БРЕМЯ БЕЛЫХ

*“Несите бремя белых,
И лучших сыновей
На тяжкий труд пошлите
За тридевять морей —
На службу к покоренным
Угрюмым племенам,
На службу к полудетям,
А может быть, чертям”.*

Киплинг

Люблю рассказы о Бразилии,
Гонконге, Индии, Гвинее...
Иль север мой мне все постылее,
Иль всех других во мне живее
Тот предок, гимназист из Вырицы,
Из Таганрога, из Самары,
Который млеет перед вывеской
“Колониальные товары”.

Я видел это все, по-моему, —
Блеск неба, взгляд аборигена, —
Хоть знал по Клавеллу, по Моэму,
По репродукциям Гогена —
Во всем палящем безобразии,
Неотразимом и жестоком,
Да, может быть, по Средней Азии,
Где был однажды ненароком.

Дикарка носит юбку длинную
И прячет нож в цветные складки.
Полковник пьет настойку хинную,
Пылая в желтой лихорадке.
У юной леди брошь украдена,
Собакам недостало мяса —
На краже пойман повар-гадина
И умоляет: “Масса, масса!”

Чиновник дремлет после ужина
И бредит девкой из Рангуна,
А между тем вода разбужена
И плеском полнится лагуна.
Миссионер — лицо оплывшее, —
С утра цивильно приодетый,
Спешит на судно, вновь прибывшее,
За прошлогоднею газетой.

Ему ль не знать, на зуб не пробовать,
Не ужасаться в долгих думах,
Как тщетна всяческая проповедь
Пред ликом идолов угрюмых?
Ему ль не помнить взгляда карего
Служанки злой, дикарки юной,
В котором будущее зарево
Уже затлело над лагуной?

...Скажи, откуда это знание?
Тоска ль по праздничным широтам,
Которым старая Британия
Была насильственным оплотом?
О нет, душа не этим ранена,
Но помнит о таком же взгляде,
Которым мерил англичанина
Туземец, нападаая сзади.

О, как я помню злобу черную,
Глухую, древнюю насмешку,
Притворство рабье, страсть покорную
С тоской по мщенью вперемешку!
Забуть ли мне твое презрение,
Прислуга, женщина, иуда,
Твое туземное, подземное?
Не лгу себе: оно — оттуда.

Лишь старый Буль в своей наивности,
Добропорядочной не в меру,
Мечтал привить туземной живности
Мораль и истинную веру.
Моя душа иное видела —
Хватило ей попытки зряшной,
Чтоб чують в черном лике идола
Самой природы лик незрячий.

Вот мир как есть: неистребимая
Насмешка островного рая,
Глубинная, вольнолюбивая,
Тупая, хищная, живая:
Триумф земли, лиан плетение,
Зеленый сок, трава под ветром —
И влажный, душный запах тления
Над этим буйством пышноцветным.

...Они уйдут, поняв со временем,
Что толку нет в труде упорном —
Уйдут, надломленные бременем
Последних белых в мире черном.
Соблазны блуда и слияния
Смешны для гордой их армады.
С ухмылкой глянут изваяния
На их последние парады.

И джунгли отвоюют наново
Тебя, крокетная площадка.
Придет черед давно желанного,
Благословенного упадка —
Каких узлов ни перевязывай,
Какую ни мости дорогу,
Каких законов ни указывай
Туземцу, женщине и Богу.

ВРЕМЯ ЧЕРНЫХ

закрытие темы

С годами все завоеватели
К родному берегу скользят.
Они еще не вовсе спятили,
Но явно пятятся назад.
Колонизатор из колонии,
Короны верный соловей,
Спешит в холодные, холеные
Поля Британии своей;
Советники с гнилого Запада
Восточных бросили царьков,
Уставши от густого запаха
Ручных шакалов и хорьков;
И Робинзон опять же пятится
На бриг, подальше от невеж:
Отныне ты свободен, Пятница,
Чего захочешь, то и ешь.
Спешит к земле корабль прогрессора,
Покинув вольный Арканар:
Прогрессор там еще погрелся бы,
Но слишком многих доконал.
С Христом прощаются апостолы
В неизъяснимом мандраже:
— А мы-то как теперь, о Господи?
Но он не слушает уже.
И сам Создатель смотрит в сторону,
Надеясь свой вселенский храм
Покинуть как-нибудь по-скорому,
Без долгих слов и лишних драм:
— Своей бездонною утробой
Вы надоели даже мне.
Я где-нибудь еще попробую,
А может быть, уже и не.

Среди эпохи подытоженной,
Как неразобранный багаж,
Лежит угрюмый, обезвоженный
И обезбоженный пейзаж.
Туземный мир остался в целости,
Хотя и несколько прижат.
В нем неусвоенные ценности
Уньлой грудой лежат.
Они лежат гниющим ворохом
Перед поселком дикарей.
Со всеми пушками и порохом,
С ружьем и Библией своей,
Со всею проповедью пылкою
Их обучил дурак седой
Лишь есть врага с ножом и вилкою
Да руки мыть перед едой.
Чем завершить колонизацию
Перед отплытьем в милый край?
Оставить им канализацию,
Бутылку, вилку, — и гудбай.

Все так. Но есть еще и Пятница,
Который к белым так присох,
Которому пошили платье
Из обветшалых парусов,
Который проклял эти гиблые,
Непросвещенные места,
Который потянулся к Библии
И все запомнил про Христа!
И что нам делать, бедный Пятница?
В цивильном Йорке нас не ждут.
Как только солнышко закатится,
Нас наши родичи сожрут.
На что мы молодость потратили?
Обидно, что ни говори,
У дикарей попасть в предатели,
А у пришельцев — в дикари.

Скажи, зачем мы так поверили,
Какого, собственно, рожна —
Посланцам доблестной империи,
Где наша верность не нужна?
А для жрецов родного капища
Мы жертвы главные. Пора!
Для них мы колла... бора... как это,
Как ты сказал — коллабора...
Мы из других материй сотканы,
У них бело, у нас черно,
Для наших я изгой, но все-таки,
Для них я просто ничего!
Теперь душа моя украдена,
Неузнаваемы черты...
Спаситель мой, любимец, гадина,
Кому меня оставил ты?
Зачем же я в тебя глаза втыкал,
Учась, покорствуя, молясь?
Зачем тобою не позавтракал,
Когда увидел в первый раз?
За что меня ты бросил, Господи,
На растерзанье их клешней?
Хотя тебе от этих слез, поди,
Еще скушней, еще тошней...
Кому потребны эти жалобы?
В его глазах слепой восторг,
Смотри, смотри, он машет с палубы,
Он уплывает в город Йорк,
Оттуда он и будет пялиться —
Невозмутимо, как всегда, —
На то, как поглощает Пятницу
Его исконная среда.

Ну что же! Вытри слезы, Пятница.
Душиста ночь в родных местах.
Плоскоголовая лопатница
Надрывно квакает в кустах.

В вечерних джунглях столько прелести!
Я так и слышу, чуткий псих,
Как от восторга сводит челюсти
У соплеменников моих.
И право, это так заслуженно, —
И в этом столько куражу, —
Что я хотя бы в виде ужина
Еще Отчизне послужу.

2018

НАЧАЛО ЗИМЫ

1

Зима приходит вздохом струнных:
“Всему конец”.

Она приводит белорунных
Своих овец,
Своих коней, что ждут ударов
Как наивысшей похвалы,
Своих волков, своих удавов,
И все они белы, белы.

Есть в осени позднеконечной,
В ее кострах,
Какой-то гибельный, предвечный,
Сосущий страх:
Когда душа от неюта,
От воя бездны за стеной
Дрожит, как утлая каюта
Иль теремок берестяной.

Все мнется, сыплется, и мнится,
Что нам пора,
Что опадут не только листья,
Но и кора,
Дома подломятся в коленях
И лягут грудой кирпичей —
Земля в осколках и поленьях
Предстанет грубой и ничьей.

Но есть и та еще услада
На рубеже,
Что ждать зимы теперь не надо:
Она уже.

Как сладко мне и ей — обоим —
Вливаться в эту колею:
Есть изныванье перед боем
И облегчение в бою.

Свершилось. Все, что обещало
Прийти, — пришло.
В конце скрывается начало.
Теперь смешно
Дрожать, как мокрая рубаха,
Глядеть с надеждою во тьму
И нищим подавать из страха —
Не стать бы нищим самому.

Зиме смятенье не пристало.
Ее стезя
Структуры требует, кристалла.
Скулить нельзя,

Но подберемся. Без истерик,
Тверды, как мерзлая земля,
Надвинем шапку, выйдем в скверик:
Какая прелесть! Все с нуля.

Как все бело, как незнакомо!
И снегири!
Ты говоришь, что это кома?
Не говори.
Здесь тоже жизнь, хоть нам и странен
Застывший, колкий мир зимы,
Как торжествующий крестьянин.
Пусть торжествует. Он — не мы.

Мы никогда не торжествуем,
Но нам мила
Зима. Коснемся поцелуем
Ее чела,

Припрячем нож за голенищем,
Тетрадь забросим под кровать,
Накупим дров и будем нищим
Из милосердья подавать.

2

— Чтобы было как я люблю, — я тебе говорю, — надо еще пройти декабрю, а после январю. Я люблю, чтобы был закат цвета ранней хурмы и снег оскольчат и ноздреват — то есть распад зимы: время, когда ее псы смирны, волки почти кротки и растлевающий дух весны душит ее полки. Где бывала их правота, грозная белизна? Марширующая пята растаптывала, грузна, золотую гниль октября и черную — ноября, недвусмысленно говоря, что все уже не игра. Даже мнилось, что поделом белая ярость зим: глотки, может быть, подерем, но сердцем не возразим. Ну и где триумфальный треск, льдистый хрустальный лоск? Солнце над ним водружает крест, плавит его, как воск. Зло, пытавшее на излом, само себя перезлив, побеждается только злом, пытающим на разрыв, и уходящая правота вытеснится иной — одну провожает дрожь живота, другую чую спиной.

Я начал помнить себя как раз в паузе меж времен — время от нас отводило глаз, и этим я был пленен. Я люблю этот дряхлый смех, мокрого блеска резь. Умирающим не до тех, кто остается здесь. Время, шедшее на убой, вязкое, как цемент, было занято лишь собой, и я улучил момент. Жизнь, которую я застал, была кругом не права — то ли улыбка, то ли оскал полуживого льва. Эти старческие черты, ручьистую болтовню, это отсутствие правоты я ни с чем не сравню... Я наглотался отравы той из мутного хрусталя, я отравлен неправотой позднего февраля. Но до этого — целый век темноты, мерзлоты. Если б мне любить этот снег, как его любишь ты — ты, ценящая стиль макабр, вскормленная зимой, возвращающаяся в декабрь, словно к себе домой, девочка со звездой во лбу, узница правоты! Даже странно, как я люблю все, что не любишь ты.

Но покуда твой звездный час у меня на часах, выколачивает
матрас метелица в небесах, и в четыре почти черно, и вовсе
черно к пяти, и много, много еще чего должно произойти.

3

Как быстро воскресает навык!
Как просто обретаем мы
Привычный статус черных правок
На белых дистихах зимы.
Вписались в узы узких улиц,
Небес некрашеную жесть...
Как будто мы к тому вернулись,
Что мы и есть.

С какую горькою отрадой
Мы извлекаем пуховик,
А то тулуп широкозадый:
Едва надел — уже привык.
Кому эксцесс, кому расплата,
Обидный крен на пару лет,
А нам — костяк, писал когда-то
Один поэт.

Как быстро воскресает навык —
Молчи, скрывайся и урчи;
Привычки жучек, мосек, шавок,
Каштанок, взятых в циркачи,
Невнятных встреч, паролей, явок,
Подпольных стычек, тихих драк;
Как быстро воскресает навык
Болезни! Как
По-детски, с жаром незабытым —
Чего-то пишем, все в уме, —
Сдаешься насморкам, бронхитам,
Конспирологии, чуме,

И что нас выразит другое,
Помимо вечного — “Муму”,
Тюрьма, сума, чума и горе
Ума/уму?

Не так ли воскресает навык
Свиданий с прежнею женой,
Вся память о словах и нравах,
Ажурный морок кружевной:
Душа уныло завывает,
Разрыв провидя наперед, —
Плоть ничего не забывает,
Она не врет.

Смешней всего бояться смерти,
Которой опыт нам знаком,
Как рифма “черти” и “конверте”.
Его всосали с молоком.
И после всех земных удавок
Еще заметим ты и я,
Как быстро к нам вернется навык
Небытия.



Вот сквозь щекочущую снежную завесу-кисею
Пляжу с печалию безбрежную на родину свою —
И вижу злобной, обесчещенной, без двух минут в петле,
И думаю о камне с трещиной, о Симоне Петре.

Да! Райский сад, Христом обещанный, в парче и серебре,
Сооружен на камне с трещиной, на Симоне Петре,
Который титула “святейшество” к себе не применял,
Поскольку так и не утешился и все припоминал,
Как ночью длиною, мучительной, какой не сочинить,
Отрекся трижды от учителя вернейший ученик.
С тех пор, припомнив это таинство позора и греха,
Он всякий раз рыдал и каялся при крике петуха,
Дрожа от вопля петушиного, моля от всей души:
Царю небесный, придуши меня, как свечку потуши!

И вот ему-то, отреченному, воздали по грехам:
Не только райский ключ вручен ему — ему воздвигнут храм,
Высокий храм, с высот которого в главнейшей из коммун
Я озираю мерцанье города в рождественский канун —
С высот падения, прощенья, отчаянья, стыда,
С высот такого ощущения, что больше никогда
Не видеть ни родного спутника, ни Божьего лица,
По гроб носить клеймо отступника и кличку подлеца.
Весь этот город, перекрещенный цепочками огней,
Теперь стоит на камне с трещиной, и мир стоит на ней —
На складке, трещине, излучине, а не тупом плато;
На тех, кто так себя измучили, как их не мог никто;
На бывших, павших, неуверенных, забредших в топь и падь,
Зато теперь уже намеренных ни в чем не уступать —
По воле мученика странного на тех стоит земля,
Кто зачеркнул себя и заново переписал с нуля.
Они и держат драгоценные ключи от райских врат,
А не простые парни цельные — Иуда и Пилат.

ОТ МАТФЕЯ

Где вас трое во имени моем,
Там и я с вами.
Мало ли что можно делать втроем —
Знаете сами!

Втроем наливать,
Втроем выпивать,
Сначала любиться, а после ревновать.
Двое крещеных, а один жид,
Двое воруют, а один сторожит.
Любо, когда двое против одного —
Честное слово!
Любо, когда любит, а любят не его —
Кого-то другого.
Я с вами на арене подвигов и ссор,
Любовей несчастных —
Чаще как зритель, порой как режиссер,
Реже как участник.
Травящие забавны, травимого не жаль —
Его судьба краше.
Это наш жанр, христианский жанр,
Это дело наше.

А где вас двое во имени моем,
Там и я с вами.
Мало ли что можно делать вдвоем —
Устами, местами:
Вдвоем ночевать, вдвоем кочевать,
Сперва освободить, а потом подчинить,
Стоять спина к спине, как в драке на борту,
А лежать, напротив, живот к животу.
Когда вас трое — я с вами иногда,
Когда двое — часто.
Глазом ли павлиньим, крапинкой дрозда
Подсмотрю глазасто.

Люблю, когда первый именье раздает,
А второй прячет.
Люблю, когда первый второго предает,
А второй плачет.
Хождение по мукам, прогулки по ножам,
Пыток избыток —
Это наш жанр, христианский жанр,
До нас не могли так.

А когда один ты во имени моем —
Я с тобой всюду.
В щелку дверную, в оконный ли проем
Проникать буду.

Дело одинокое — бортничать, удить,
Поле синеекое вброд переходить,
Море синеглазое шляпкой попить,
Сочинять, рассказывать, жить и умирать,
Задавать работы ленивому уму —
Помогай Боже! —
Да мало ли что можно делать одному?
И прочить тоже.

Я люблю смерть, хлад ее и жар.
Взлет души из тела —
Это наш жанр, христианский жанр,
Это наше дело.

А когда нету вовсе никого,
Ни в центре, ни с краю,
Тут моя радость, мое торжество,
Там я преобладаю.

Летние школы, полночные двory,
Старые газеты.
А то еще огромные, страшные миры —
Чуждые планеты.

Безглазая крупа, безмозглая толпа,
Железная пята, звериная тропа,
Звериная буза, звериная тоска,
Звериные глаза, лишённые зрачка,
Горы, дожди, занесённые лыжни,
Таёжная осень —
Чтобы стало ясно, зачем мы нужны,
Что мы привносим.
Насланный потоп, ненасланный пожар,
Прилив океанский —
Это наш жанр, христианский жанр.
Самый христианский.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

Перестал сомневаться в Боге, хоть колебался еще вчера. (Как говорил мой учитель строгий — Господь аплодирует вам, ура!) Ночью, бывало, проснешься в страхе, будишь подругу, включаешь свет — неуютно душе во прахе. Как это так, меня — и нет? Как я метался, как сомневался, как вцеплялся в благую весть — от когнитивного диссонанса: смерти нет — и все-таки есть! И как-то это прошло с годами, хотя должно было стать острее от приближения к этой даме (есть она, нет ее — черт бы с ней). Дело не в том привычном мотиве ли, всякому гопнику по плечу, что все с годами мне опротивели? Не опротивели, жить хочу. Стал терпеливее, стал мудрее ли? Так сказать, опять в молоко: невысоко мои мысли реяли — и нынче реют невысоко. Многие веруют от противного: что ни вспомнишь — везде фуфло. Столько повсюду мрака активного — где-то обязано быть светло. Тут есть известный резон, без спора. Высунешь нос — и сразу домой; смотришь трансляцию из собора — и ощущаешь себя Хомой. Когда в глаза тебе смотрят Вии — сразу уверуешь, *c'est la vie*. Но ведь это все не впервые. И когда тут рулил не Вий? Да и наивен сводящий Бога только к свету, только к добру (эта мысль тяжела для слога — скажу точнее, когда умру). О, сознание островное, света пятно среди темных вод! Бог — это как бы все остальное, кроме всего вот этого вот. Сейчас для этого нету слова, как в подсознание ни вникай. Разве что вспомнить фразу Толстого из последнего дневника, когда оставалось ему немного до, сорри, выхода в высший свет: или, пишет он, нету Бога, или ничего, кроме Бога, нет.

Как газ, как свет, как снег, бесстрастно штрихующий раннюю полутьму, — Бог заполняет все пространство, предоставленное ему. Глядишь, почти ничего не стало, как и предрек один иудей: чести, совести, долга, срама, слез и грез, вообще людей. Сплошь лилипутики, менуэтики, растелешившийся Бобок; ни эстетики, ни конкретики, ни политики — только Бог. Смотри, как он перетекает в родной пейзаж со всех сторон, как ничего не отвлекает — всюду он и только он. Смотришь сквозь тюлевые

занавески, как пустынен мир и убог, как на него сквозь голые ветки сверху клоками сыплется Бог; как засыпает пустырь, дорогу, как сцепляется на лету, покуда мир подставляет Богу свою растущую пустоту, как заполняет все пространство его хрустальный перезвон.

Только я еще остался.

Уйду — и будет только он.

ПАСХАЛЬНОЕ

...А между тем благая весть — всегда в разгар триумфа ада, и это только так и есть, и только так всегда и надо! Когда, казалось, нам велят — а может, сами захотели, — спускаться глубже, глубже в ад по лестнице Страстной недели: все силы тьмы сошлись на смотр, стесняться некого — а че там; бежал Фома, отрекся Петр, Иуда занят пересчетом, — но в мир бесцельного труда и опротивевшего блуда вступает чудо лишь тогда, когда уже никак без чуда, когда надежда ни одна не намекает нам, что живы, и перспектива есть одна — отказ от всякой перспективы.

На всех углах твердят вопрос, осклабясь радостно, как звери: “Уроды, где же ваш Христос?” А наш Христос пока в пещере, в ночной тиши. От чуждых глаз его скрывает плащаница.

Он там, пока любой из нас не дрогнет и не усомнится (не усомнится только тот глядящий пристально и строго неколебимый идиот, что вообще не верит в Бога).

Земля безвидна и пуста. Ни милосердия, ни смысла.

На ней не может быть Христа, его и не было, приснился.

Сыскав сомнительный приют, не ожидая утешенья, сидят апостолы, и пьют, и выясняют отношенья:

— Погибло все. Одни мечты. Тут сеять — только тратить зерна.

— Предатель ты.

— Подослан ты.

— Он был неправ.

— Неправ?!

— Бесспорно. Он был неправ, а правы те. Не то, понятно и дитяти, он вряд ли был бы на кресте, что он и сам предвидел, кстати. Нас, дураков, попутал бес...

Но тут приходит Магдалина и говорит: “Воскрес! Воскрес!

Он говорил, я говорила!” И этот звонкий женский крик среди бессилия и злобы раздастся в тот последний миг, когда еще чуть-чуть — и все бы.

Глядишь кругом — земля черна. Еще потерпим — и привыкнем. И в воскресение зерна никто не верит, как Уитмен. Нас окружает только месть, и празднословье, и опаска, а если вдрут надежда

есть — то это все еще не Пасха. Провал не так еще глубок. Мы скатимся к осипшим песням о том, что не воскреснет Бог, а мы подавно не воскреснем. Он нас презрел, забыл, отверг, лишил и гнева, и заботы; сперва прошел страстной четверг, потом безвременье субботы, — и лишь тогда ударит свет, его увижу в этот день я: не раньше, нет, не позже, нет, — в час отречения и паденья.

Когда не десять и не сто, а миллион поверит бреду; когда уже ничто, ничто не намекает на победу, — ударит свет и все сожжет, и смерть отступится, оскалясь. Вот Пасха. Вот ее сюжет. Христос воскрес.

А вы боялись.

ШАИРИ

Будто вся родня на даче; будто долго и устало
Еду к ним на электричке с августовского вокзала;
Город розовый и пыльный, вечер пятницы, закат.
Пригляжусь — никто не видит, или видят, но молчат.

Между тем уже вполнеба, или больше, чем вполнеба,
Что-то тянется такое, то ли сверж, а то ли недо,
Что-то больше всех опасок, заслоняющее свет,
Адских контуров и красок, для которых слова нет.

Но ни паники всеобщей, ни заминки, даже краткой,
Только изредка посмотрят в ту же сторону украдкой —
И опять глаза отводят, пряча жуткое на дне,
Все торопятся уехать — тоже, может быть, к родне.

Ну а, может, в самом деле лишь один я это вижу —
Эти всполохи и всплески, эту бешеную жижгу?
Я в последнюю неделю, в эту тяжкую жару,
Явь от сна не отличаю, мыслей всех не соберу?

Но привычно двери пшикнут, и потянутся, ведомы,
Проводов неумомимых спуски плавные, подъемы,
Вспоминаться будут снова и заглядывать в окно
Полустанки сплошь на -ово, или -ское, или -но.

Но среди родных названий вдруг проглянет неродное —
То ли что-то ременное, то ли что-то коренное;
Чья-то девочка заплачет, средь народа не видна,
Лошадь белая проскачет вдруг, без всадника, одна.

Но потом опять все мирно — липы ветками качают,
Бабки с внуками выходят и родителей встречают,
Едут потные родные — сумки белые в руках —
Погулять на выходные, покопаться в парниках.

И меня вот так же встретят километре на тридцатом,
Мы пойдём на свой участок под алеющим закатом,
А плывущий стороною тот, другой, ужасный цвет
Буду чувствовать спиною, но оглядываться — нет.

Впрочем, может, он казался, но смешался и растекся?
Здесь не верится в такое. Запах астры, запах флокса.
Чай по ходу разговора. Чашки жаркие бока.
Вся дорожка вдоль забора в белых звездах табака.

Новостей дурацких детских говорливая лавина.
Черноплодка и малина, облепиха, клещевина.
Все свежо, пахуче, мокро и другим не может стать:
Чай допьём, закроем окна, на веранде ляжем спать.

И выходишь в сад притихший, где трава пожухла жутко,
И стараешься не видеть, как кусты к забору жмутся,
Как вступает лакримоза в айне кляйне нахт мюзик
И распарывает небо ослепительный язык.



Но вот и дни последнего тепла.
Сияет клен, оконного стекла
Касаясь.
По улицам шатается толпа
Красавиц.
Красавицы сияют испитой,
Последней, острой, нервной красотой
С мечтательным и хищным выраженьем.
Все нараспашку, навзничь, напоказ,
Все веет размножением и
Разложением.

Повсюду жгут листву. В ее дыму
Мучительно бродить по одному:
Все — по два,
Но ясно, что не выйдет ничего:
Все напоказ, и все обречено.
Все будет подло, медленно, черно,
Бесплодно.
Все рвется умирать и истреблять.
Природа, как покрашенная блядь,
Невинна.
О тупике кричит любой пустык,
И летом тоже так. Но летом так
Не видно.

Под окнами — дворовый стадион.
Всеобщей суете под стать и он:
Часами
В футбол гоняет цвет пяти дворов.
Аплодисменты, свист, кричалки, рев —
Все сами.
Чрезмерен каждый выкрик, каждый штрих —
Как поцелуй с оглядкой на других;
И, краем

Сознания — “Наш век не так тяжел:
Да, все вразнос, а мы еще в футбол
Играем!”

И точно так в прощальный свой расцвет
Шевелится и шепчет всякий бред
Держава,

Которая, как старое “Пежо”,
В закатном свете выглядит свежо,
Но ржаво.

Листва шумит, хотя уже суха.
На всем кресты, зияние, труха,
Как будто на машинке буква “Х”
Залипла.

И в кабаке, и в доме, и в мозгу
Все голосит: “Я буду! Я могу!” —
Но сипло.

Все кончится, иссякнет и умрет
Без смысла и трагических высот.
Все выродится в скверный анекдот.
Нет времени честней, чем бабье лето,
И если я люблю его — то вот
За это.



У Бога не было родителей, он круглый сирота,
И потому на местных жителей он смотрит свысока,
И это видно в нем по почерку, масштабам, куражу
И кой-чему иному прочему, о чем я не скажу.
Когда он строил, возвеличивал, творил и размещал —
Его никто не ограничивал, никто не запрещал,
И потому в его ментальности, от мошек до планет,
Не только нет сентиментальности, но даже Бога нет.

У Бога не было родителей, он сам — или сама.
Среди верховных добродетелей отцовских чувств нема.
Мы все неважные родители, что самка, что самец,
И как творец он выше критики, но ниже как отец.
Христос имел, конечно, отчима, смешного старика,
Но уважал его не очень-то: спасибо и пока.
Его слова, довольно страшные, звучали прямо так:
Враги тебе твои домашние, и ты им тоже враг.
Вообще, где говорится в Библии о родичах Христа, —
Места не то что прямо гиблые, но темные места.

У Бога не было родителей, и потому, смотри,
Из всех сообществ и обитателей он чтит монастыри,
Он уважает одиночество, его нагулю суть,
И троллит тех, которым хочется прижаться и уснуть.
У Бога не было родителей, и верно, потому
Мы всюду корчим победителей, но в собственном доме
Ведем себя неловко, связанно, как некий конь в пальто.
Как с ними быть, нигде не сказано: ну чти, и дальше что?
Как быть с их слабостью, старением, любовью, нищетой,
Непониманьем, несварением убогой пищи той?
В ответ ни окрика, ни шепота, ни даже пары фраз —
Он не имел такого опыта, и он нам не указ.
Есть опыт смерти, воскресения — а опыта родства
Он не имеет, как осенняя опавшая листва.
Должно быть, по причине этого везде такой сквозняк,
Все так печально, фиолетово и одиноко так.

СКАЗКА О СТАРИКЕ И СТАРУХЕ

Предо мной сидит моя старуха,
Перед ней разбитое корыто,
Вкруг нее пустынно и сухо,
Вся земля измята, изрыта.
Бог с тобой, рыбка золотая,
Ступай себе в синее море,
А я тут останусь, причитая,
Мыкая привычное горе.
Здесь моя нужда, пусторука,
Здесь моя любовь, ядовита, —
Это ж как-никак моя старуха
И мое разбитое корыто.
Вечная тупая непруха,
За чужую щедрость расплата...
Дай обниму тебя, старуха,
Ты-то ни в чем не виновата.
Никакой ангел, пролетая,
Нашего стыда не оценит,
Никакая рыбка золотая
Мне моей старухи не заменит.

Выживать сухо да коряво —
Это наша давняя привычка.
Была у нас курочка Ряба,
Золотое нам снесла яичко,
Слова не выбросишь из были:
Так его били, что устали,
Били мы его — не разбили,
Разве облупили местами.
Мышка по избе пробежала
В эту неурочную пору,
Выставив раздвоенное жало —
Или это хвостик, не помню.
Мы ее позвали на репку —
Господи, что за невезенье:

То у нас яичко не бьется,
То у нас репка не вылазит!
Помнится, сидим мы устало
Возле золотого распыла...
Репку-то она нам достала,
Да зато яичко разбила.
Незачем мышей беззаботных
В помощь приглашать: да что же делать,
Если всех домашних животных
Мы уже прогнали за дерзость?
Крикнешь: “Да пошло бы все прахом!” —
А судьба ставит запятые:
Нечего рыбакам и пряхам
Получать вещи золотые.

Будем жить с тобой, моя старуха,
У воды неверной и зыбкой
Так же безнадежно и глухо,
Как до этих глупостей с рыбкой.
Обживать каменную глыбу,
Привыкать к бурому пейзажу:
Пока я не выловлю всю рыбу,
А ты не выпрядешь всю пряжу.
И будешь ты, как по воле вражьей,
Вдумчиво прясть и аккуратно,
Пока своею липкою пряжей
Не окутаешь остров, как Арахна.
Когда же все будет покрыто
Сплошной паутиной без разбору,
Мы сядем в разбитое корыто
И поплывем на Арарат-Гору.
И курочка нас будет, как обычно,
Утешать среди синего простора
И снесет нам новое яичко,
Но не золотое, а простое.

1978–2015



Вечером в августе возле большой реки,
Скажем, на Волге, Оке и Каме,
Где шелестят понурые рыбаки
Желтыми тростниками,
В заводях, где коряги и топляки
Кажутся к небу протянутыми руками,
Где берега дики, омуты глубоки,
Села заселены древними стариками,
С белыми бельмами, с космами цвета сырой муки,
Перемолотой навсегда умолкшими ветряками,
В сумерках, наползающих, как неведомые полки,
С лиловыми флагами, темными жожаками,
Или как одичавшие, брошенные щенки —
С умоляющими глазами, с окровавленными клыками,
В местностях, где живые выглядят мертвяками,
А мертвяки приветливы и близки, —
Можно расслышать, как шелестят мертвыми языками
Мертвые языки.

Когда-то они годились для праздников и вещей,
Ушедших из обихода,
Костюма, вооружения, поножей, кислых щей,
Дедушкина мундира, бабушкина комода,
Пыточных древних обрядов, святых мощей,
Вычурных правил вымершего народа,
Который казался вечным, что твой Кащей,
А оказался изменчивым, как погода,
Зыбким, как цвет осеннего небосвода,
Но постижимей, низменней и страшней.

Прежде они годились для называнья тех
Смешанных состояний, как, например, досада,
Смешанная с любовью; безоблачный детский смех,
Смешанный с дикой злобой; воинственная армада,
Оплакивающая павших; солдат, надевший доспех,

Но испугавшийся внезапного листопада;
Невинная дева, готовая впасть во грех,
Но машинально плачущая “не надо”;
Осмеянная печаль, отравленная отрада,
Убийственная услада, желательный неуспех...
Теперь они пятятся, как уволенная бригада,
Покидающая навеки закрытый цех,
Подразделенье грохочущего ночного завода-ада,
Где в тайне варилась продукция не для всех.

Когда-то они годились для слов любви,
Вздохов и стонов, статуй или мозаик,
На них орали “умри”, молили “живи”,
На них ворковал поэт, волхвовал прозаик,
Теперь их знают историк в пыли и хирург в крови,
А есть и такие, которых никто не знает.

Прежде была верна цезарева жена,
В салоне вещал Солон, и ваял Пракситель,
Но кончились времена, вымерли племена,
Рассыпались стремена, износился китель.
Обширна была страна, грамматика мудрена,
Лексика разветвлена, но подвел носитель.
Забылись слова, понятия, имена,
Гавань подернулась тиной, пуста обитель,
Стен и земли не жалко, Господь свидетель, —
Жаль языка и сына его — меня.

Остался бы он душой, но не стало тел.
Шумел бы еще рекой, но не стало суши.
Он бы еще ворковал, щебетал, свистел,
Клялся и проклинал, но некому слушать.
Он бы напомнил суть, но не стало сущих,
Он растворился, но не смирился с тем.

Вот и шуршит цепенеющая река,
Воеет зверье, к небесам поднимая морды,

Темною грудой гранита, известняка,
Лезвий, костей — лежит опустевший Мордор,
Лижет луну языком своим полумертвым
Полумертвый носитель мертвого языка.

Бес- пределъ- щица

*Русская рэп-опера
с элементами стеба и степи
по мотивам драмы
А.Н. Островского*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ЛАРИСА ОГУДАЛОВА, девица 19 лет, редкой красоты и вольного обращения.

ХАРИТА ОГУДАЛОВА, мать ее, тоже когда-то была ничего.

СЕРГЕЙ ПАРАТОВ, пожиратель сердец, кутила с чертами хищника.

МОКИЙ ПАРМЕНЫЧ КНУРОВ, богатый купец, толстяк, не лишенный элегантности и стиля.

ВАСЯ ВОЖЕВАТОВ, клерк в крупной фирме, волжский хипстер XIX века.

ЮЛИЙ КАРАНДЫШЕВ, чиновник неясного ранга.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАИЧ ОСТРОВСКИЙ, Колумб Замоскворечья.

ТРАКТИРНАЯ ПРИСЛУГА, КРЕСТЬЯНЕ, ЦЫГАНЕ, ЧЕЧЕТОЧНИКИ.

Действие происходит в поволжском городе Калинове, известном своими грозами, лесом, без вины виноватыми талантами и поклонниками, волками и овцами.

Пролог

ОСТРОВСКИЙ (в центре сцены), сначала сидит в кресле в позе известного памятника, потом встает, прохаживается, начинает пританцовывать, наконец, разошедшись, пускается вприсядку. Припев отдаленно напоминает "Летку-енку".

Здравствуйте, рассаживайтесь, гости дорогие!
Вся ваша жизнь российская — моя драматургия,
Гражданская, мещанская, и волчья, и овечья, —
Я домотканый ваш Шекспир, Колумб Замоскворечья!

Эх-ма, бедная невеста, бедность не порок!
Эх-ма, доходное место, Минин-Сухорук!
На чужой каравай рот не разевай,
Свои собаки, вишь, дерутся, чужая не приставай.

Пред вами свой раскину мир, душистый и цветистый:
Сановники, чиновники, бродячие артисты,
Защитники Отечества, галантные полковники,
Священство и купечество, таланты и поклонники!

Эх-ма, сердце не камень, и наоборот!
Эх-ма, грех да беда, эх, кого не живет!
Сердце горячее светит да не греет, мудрец порою прост,
И не все, не все коту масленица, есть великий пост!

Я царство темное воспел — давно, еще до санкций,
Я первым, собственно, узрел луч света в темном царстве,
Я стиль театра Малого нашел, мое почтенье,
И Лара Огудалова — мое изобретенье!

Эх-ма, банкрот, пучина, чижолый русский дух!
Эх-ма, старый друг да лучше новых двух!
Не в свои сани не садись, не отводи глаза!
Бешеные деньги, тяжелые дни, невольницы, гроза!

(Крещендо)

Эх-ма, мели, Емеля, кто в лес, кто по дрова,
Эх-ма, ешь, да не обкапайся, ежова голова!
С кем поведешься, с тем и наберешься, чти отца и мать,
Рожа в кровь, совет да любовь, таскать вам не перетаскать!

Эх, бодался теленок с дубом, не зная брода — не лезь!
Куручка клюет по зернышку, а двор обдрищет весь!
Хлеб-соль ешь, а правду режь, на том стоит земля,
Тому стыдно, у кого не видно, довольно, вуаля!

Переводит дух. Речитативом:

Боюсь, мое вступление затянется,
Почтеннейшая публика, прости,
Но пару слов о пьесе “Бесприданница”
Я все-таки хочу произнести.

Я мучился с девицею упрямою,
Воспел всеобщий табор и развал,
И я ее своею лучшей драмою
Без преувеличения назвал.

Провал случился прямо оглушительный,
Я искренне хотел бросать перо,
Раздался приговор неутешительный —
Медлительно, бездейственно, старо!

И наши все тогдашние селебрити
Ошикали великий мой финал,

В котором был предсказан век серебряный —
Но кто же в Малом это понимал?!

Так просчитаться с главной ролью женскою!
Укоры и попреки без числа.
Увы, я не застал Комиссаржевскую —
Она мне репутацию спасла.

Безгрешным не хотел бы показаться я,
Но каяться мне тоже не с руки.
Ведь лучшая ее экранизация
Была опять же встречена в штыки!

Рязанов там действительно приблизился
К тому, что понимало большинство, —
Но в этом увидали признак кризиса
И ноги вытирали об него.

Но пьеса хороша, я в это верую!
Такую не опошлит и пошляк.
Сперва всегда скандал с ее премьерою,
А после сплошь восторги и аншлаг.

И если вот такая “Бесприданница”,
Которую ваш век намалевал,
Вам с первого просмотра не приглянется —
Не надо говорить: “Провал, провал!”

Не надо в ней искать подтекста будничного,
Намека на события в стране...
Быть может, эта вещь пришла из будущего.
Как некогда пришла она ко мне.

Первое действие

ЦЫГАНСКАЯ БАЛЛАДА

С нашим племенем бродячим
Породнился русский дом:
Мы надрывно с вами плачем,
Мы запойно с вами пьем!
Наш костер в тумане светит,
Сбиться с толку не дает.
Ты заплачешь — хор ответит,
Ты подохнешь — отпоет!

Наш хор поет припев любимый,
И вино течет рекой:
К нам приехал наш любимый
Наш Островский дорогой!

Тут у нас сюжет отличный:
Заклучают странный брак!
Мы сейчас, как хор античный,
Вам расскажем, что и как.
Огудалова Лариса
И красива, и стройна,
Но хоть в Волге утопится —
Бесприданница она!

Наш хор поет припев любимый,
Подпеваает весь народ:
Нелюбимый и любимый —
Никто замуж не берет!

Дом у них — цыганский табор,
Жизнь шумна и широка,
Но известно дело — бабам
Трудно жить без мужика!
Ездил к ним такой Паратов,
Завсегдатай всех кружал,
Бриллиант на сто каратов —
Но фактически сбежал!

Наш хор поет припев любимый,
И вино течет рекой:
От них уехал их любимый
Сергей Сергеич дорогой!

И грустит теперь Лариса,
И другой у ней жених —
Завелась при доме крыса
Канцелярская у них!
Физьномия тупая
И скандальнейшая мать,
А фамилия такая —
Даже в строчку не вогнать!

Наш хор поет припев любимый,
Надрывает пеньем грудь:
Нелюбимый, нелюбимый —
Но хотя б какой-нибудь!

ОСТРОВСКИЙ (*выводя на сцену КНУРОВА и ВОЖЕВАТОВА*)

Хочу представить вам купца
Подвижного, поджарого —
Он купчик нового образца...

КНУРОВ

А я образчик старого!

Танцуют (КНУРОВ переступает на месте, ВОЖЕВАТОВ скачет козлом).

КНУРОВ

Настало времечко для нас:
Страна щедра, как булочная.
Я символ прошлого как раз...

ВОЖЕВАТОВ

А я образчик будущего!

ХОРОМ

Какой энергией кипят
Два сына мамы-нищенки!
Один — медведь, другой — гепард,
Зато уж оба хищники!

Быстры российские умы,
Судьба щедра к удалому,
И оба втайне любим мы
Ларису Огудалову.

КНУРОВ

Я нрав ее свободный
Люблю любовью той —
Быть может, старомодной,
Но чистой и святой!

Да, в членах нет дрожанья,
Еще нескоро в гроб —
И я на содержанье
Охотно взял ее б!
Охотно!
Охотно!
Охотно взял ее б!

ВОЖЕВАТОВ

А я бы поигрался,
Купил бы ей тряпья,

А после надругался
И выбросил ея!

Я не сентиментален.
Любовь — дешевый бред.
Бабье — оно для спален,
Души у женщин нет!

КНУРОВ

А честно говоря, Василь Семеныч,
Может, это все и ложь?
В жизни же не знаешь, где утонешь,
Где вольготно поплывешь?
Может, ты как раз ее полюбишь,
Словно маков цвет?
Может, ты как раз себя погубишь,
А Ларису — нет?

Тогда б я поигрался,
Купил бы ей тряпья,
А после надругался
И выбросил ея!

ВОЖЕВАТОВ

А я на содержание
Ларису взял бы сам
В порядке подражанья
Старинным образцам.

ХОРОМ

Лариса Огудалова,
Принцесса на горошине,
Из рода захудалого,
Но с предками хорошими,
Явись, о дочь Хариты,
Пред шумною толпой

Купеческой элиты —
И арию пропой!

АРИЯ ЛАРИСЫ

Днем у нас серо, а ночью черно,
Народ у нас тупой и жадный,
Высокого в городе нет ничего,
Помимо каланчи пожарной.
Наш город родовит, наш город деловит,
Наш город небольшой и старый,
В нем длинная зима, в нем серые дома —
И тут такая я с гитарой!

И тут такая я, я вся как адамант,
Я вся как бриллиант, я вся как амарант,
Мне нужен адъютант, красивый лейтенант,
Богатый содержант, достойный оккупант,
Я истинный талант, двусмысленный шармант,
Мне нужен элефант, надежнейший гарант,
Мне нужен коммерсант богатый,
Будь он хоть целакант рогатый!

Российский драматург, конечно, демиург,
И все-таки, Господь свидетель,
Красавица всегда смиренна и горда,
Всегда являет добродетель.
Луч света в царстве тьмы, прохладнее зимы,
Суровее родного края,
Боясь раскрыть уста и прочие места —
И тут такая я такая!

И тут такая я, не бывшая досель,
Как радужный апрель, как ягодный кисель,
Пушистая, как шмель, душистая, как хмель,
Убойна, как шрапнель, достойна, как Шанель,

Кружу, как карусель, пою, как Рапунцель,
И мечу точно в цель, как всякая La Belle —
Мне нужен человек любимый,
Будь он хоть людоед голимый!

ДУЭТ ЛАРИСЫ И ОСТРОВСКОГО

ОСТРОВСКИЙ (*подходя к ЛАРИСЕ, отечески-назидательно, хотя не без любования*)

Лариса, ты ведешь себя нескромно,
В России это важный знак.
Ты движешься развязно, смотришь томно,
Ты делаешь ногой вот так!
Хохочешь на слова гостей и мамы,
Влезает не в свои дела...
Доселе героиня русской драмы
Совсем не так себя вела!

ЛАРИСА

Оставь же наконец свой тон московский,
Купеческих судеб скорняк!
Пора тебе понять, мон шер Островский:
Я просто не люблю скромняг!
Скромняга-подхалим, молчун-тихушник,
Уместный всюду элемент, —
Конечно, он хорош в момент текущий,
Но будет и другой момент!

Ты можешь быть убогим, злым, погромным,
Уродливым и весь в прыще,
Но главное — ты будь при этом скромным
И рта не разевай вообще!
О, как я ненавижу эту скромность,
Укромность и ханжей с мошной,
Угодливую тишь кисейных комнат,
Где пытки и разврат сплошной!

ОСТРОВСКИЙ *(примирительно)*

Допустим, это так. Полно примеров,
Что лучших норовят нагнуть.
Но любишь ты купцов, миллионэ-эров,
А маленьких людей — отнюдь!
Я вдумчиво в душе твоей порылся —
Ты думаешь, что им нужна?
Красавица не может быть корыстна,
По крайней мере не должна.

ЛАРИСА

Ужель тебе не мил рысак орловский,
А лилии милей сорняк?
Пора тебе признать, мой друг Островский,
Я просто не люблю дворняг!
О да, аристократы, да, магнаты,
Элита и мечта страны.
Богатые, мон шер, во всем богаты,
А бедные во всем бедны!

А сам-то ты о ком? Ужель о нищих,
Ужель о жителях трущоб?
Наверное, писать и жить в говнищах
Не нравится тебе? Еще б!
Островский, приглядишь! Прошла эпоха
Гражданственных тупых поэм.
Не будем о народе думать плохо,
Забудем про него совсем!

ДУЭТ КНУРОВА И ВОЖЕВАТОВА

(на мотив "Парохода")

КНУРОВ

Ой, что такое движется там по реке —
И врывается в наш городок удивительно быстро?

Ой, что такое сходит по палубе с тростью в руке
И при этом парфюмом воняет на весь пароход?

Ах, не солгали предчувствия мне,
Нет, мне глаза не солгали, —
“Ласточка” резво идет по волне,
Славный на тысячу верст пароход!

ВОЖЕВАТОВ

Ой, мы слышали, будто бы славный купец —
Знаменитый кутила Сергей свет Сергеич Паратов, —
Ой, будто бы он продал свое пароходство вконец
А теперь, погляди, уступает свободу свою!

Ах, не солгали предчувствия мне,
Нет, мне друзья не солгали, —
Шумных людей не осталось в стране,
Шумным пора продавать пароход!

ХОРОМ

Ой, говорили же ему, доиграешься ты,
Докутишься, допьешься, доврешься — и он доигрался!
Ой, доигрался до полной почти нищеты
И теперь хоть какую-то дуру с приданным нашел!

Ах, не солгали предчувствия мне,
Нет, мне глаза не солгали,
Будет Паратов с годами на дне,
Сядет на мель, как его пароход!

ПАРАТОВ

(со старомодным пафосом, сильно кокетничая)

Течение времени ужасно!
Уже седеет борода.
Я, господа, поиздержался.
Поиздержался, господа.

Мой дом всегда для всех распахнут.
Что деньги? Только матерьял.
Другие пусть над златом чахнут —
А я в толпу его швырял!

Кормил-поил толпу подонков,
Платил несчастным от щедрот —
Ведь без меня они подохнут,
Никто и корки не швырнет.

И все хватали деньги эти,
Хватало всем хоть по рублю:
Певцы, актеры, даже дети!
Я, господа, детей люблю.

Я их люблю, как Свидригайлов,
Литературный мой кумир,
Люблю их плач и содроганья,
И я им тоже очень мил!

Но все кончается на свете —
И звон монет, и шум молвы,
И Периньон, и даже дети:
Они растут, а мы — увы.

И вот обычная расплата:
Ликует враг, сокрылся друг.
Я предан всеми, кто когда-то
Буквально ел из этих рук!

Что ж, я смирил свою гордыню,
Я понял радости стыда:
Прощаю всем, уйду в пустыню —
Молиться буду, господа!

(Внезапно пускается вприсядку)

Ну и что же, вы поверили в подобный бред
И навек меня похерили?! Конечно, нет.
Колокольчики, бубенчики звенят, звенят!
Про ошибки моей юности твердят, твердят!

Я назло дырявым душам
Отыскал невесту с кушем:
Дочь чиновного отца,
Безусловного глупца!

Я сижу теперь на привязи, зато, зато
Я беру за нею прииски и тысяч сто!
Колокольчики, бубенчики звенят, звенят,
О продаже моей вольности твердят, твердят!

Я прощание устрою
С бурной жизнью холостою,
Утоплю ее в вине,
На обед прошу ко мне!

ВОЖЕВАТОВ *(приплясывая)*

Мы б поехали к бывалому бойцу, бойцу,
Но Ларису Огудалову ведут к венцу!
Колокольчики, бубенчики звенят, звенят,
О несчастливом замужестве твердят, твердят!

ПАРАТОВ

Вот сюрприз! Ты точно знаешь,
Что Лариса выйдет замуж?
Если правда это, брат, —
Я не так уж виноват!

Я и сам готов жениться был на ней, на ней,
Сам себе казался рыцарем, ослом, верней,
А она как цветик маковый, — и петь, и в пляс, —
Но сбежал, по делу якобы. Господь упас!

Колокольчики, бубенчики звенят, звенят,
Про догадливость Паратова твердят, твердят!
Но на это я замужество пойду, взгляну —
С мужем, думаю, подружмися, — и ну, и ну!

(бисюря)

Колокольчики, бубенчики! Звеня, звеня,
Отвезите к Огудаловым меня, меня!
Вот, любезное купечество, пойдет кутеж!
Если кто и покалечится — и что ж, и что ж!

КАРАНДЫШЕВ

Я наблюдаю пристально, как вы, Лариса, мечетесь,
Как слабо представляете вы мой семейный дом,
Но я, Лариса, требую, чтоб всякой этой нечисти
У вас отныне не было на десять верст кругом.

Эх-ма, полноте ребячиться в томлении пустом!
Эх-ма, время озадачиться молитвой и постом!
Не время ныть про старину, пора закончить пьянку —
Ведь я беру себе жену, жену, а не цыганку!

ЛАРИСА

Вы, Юлий Капитонович, оставьте эти древности,
Забудьте малевание классических картин,
А если вы устроите хоть раз попытку ревности,
Рога ветвистей папиных наставлю вам, кретин!

Эх-ма, себя-то погублю, но есть ли для кого ль?
Эх-ма, я не полюблю классическую моль!
Не смейте лезть в мою игру, ведь вам же будет хуже,
Ведь я не сторожа беру, а может, и не мужа!

КАРАНДЫШЕВ *(примирительно)*

Ну-ну, оставим глупости, нас ждут сплошные радости,
Ведь главное в супружестве не речи, а кровати!

И стерпится, и слюбится, и с мамой вы поладите,
И с Юлий Капитонычем полюбите играть.

ПАРАТОВ (*внезапно входя*)

Эх-ма, Юлий Капитоныч, что же ты притих?
Эх-ма, приди — и ты утонешь в объятиях моих!
Боюсь, в присутствии твоём грозит начаться качка,
И мы с Ларисою вдвоем поговорим пока что.

КАРАНДЫШЕВ *уходит.*

РЕЧИТАТИВ ЛАРИСЫ И ПАРАТОВА

ПАРАТОВ

Я хотел бы, Лариса Дмитриевна,
По праву друга назойливого,
Задать вам один простейший вопрос —
Нет-нет, ничего особенного,
Задать вам один интимный вопрос —
О нет, ничего обидного:
Скоро ли женщина забывает мужчину,
Страстно ею любимого?

ЛАРИСА

Ах, мне все равно, что вы думаете,
Вы можете лгать без устали,
Я знаю, что вы с рождения
Любви никогда не чувствовали,
Вы хуже древнего идола,
Бесчувственной камня белого,
И если я вас обидела,
То, значит, правильно сделала!

ПАРАТОВ

Мне странно это предательство.
Пардон, но есть доказательства:

Бывают же обстоятельства,
Бывают же обязательства!
Мужчины бывают призваны,
Бывают разные случаи...
Швыряться в них укоризнами —
Мещанство и бабство суще!

ЛАРИСА

Мещанство, ну вы подумайте!
Какие смешные практики!
Вы думаете, вы дунете —
И я полечу к вам прям-таки?
Я умница и красавица,
Зачем мне такого идола?
Женитесь на ком вам нравится,
А я тут другого выбрала.

ПАРАТОВ *(мягко)*

Лариса, зачем вы губите
Свой шарм на такие глупости?
Ведь вы же его не любите,
Я знаю, кого вы любите!

ЛАРИСА

Моим вы уже не будете,
И это яснее ясного —
Ведь вы никого не любите,
И глупо вам верить на слово.

ХОРОМ

Какая была бы пара мы!
Покажем любовь до гроба им.
Наверное, станем старыми —
Тогда еще раз попробуем.
Ты будешь глядеть молитвенно...

ЛАРИСА

А может, и ты уверуешь?

ПАРАТОВ

Прощайте, Лариса Дмитриевна.

ЛАРИСА

Прощайте, Сергей Сергеевич.

(Расходятся, оборачиваются, бросаются друг другу в объятия)

ЦЫГАНСКИЙ ХОР *(комментируя)*

Так всегда оно бывает,
Эти бури всем грозят:
Разрывает, забывает —
И бросается назад!
Кто хоть раз любви добился —
Тот и дальше будет лезть.
Говоришь, самоубийство?
Но ведь это жизнь и есть!

Наш хор поет припев любимый
И едва смиряет дрожь:
Есть закон неколебимый —
Против страсти не поперешь!

РОМАНС ЛАРИСЫ ПАРАТОВУ

Ты знаешь, я люблю тебя, Паратов,
Призналась я сама, в конце концов.
Не то что я люблю аристократов,
Не то что западаю на купцов,

Не то что от своей хочу свободы
Сбежать в твою заветную петлю,
А просто мы красавцы и уроды —
Я это сочетание люблю!

Я женщина серебряного века,
Явление другого языка —
Я с этой точки зрения калека,
Я чайка, но и чайки нет пока!

Сперва, ты знаешь, публика залает
На наш с тобою бешеный замут.
Меня Комиссаржевская сыграет —
Тогда уже и критики поймут!

А ты-то человек семидесятых,
К лицу тебе разнузданный разврат,
Таких, как ты, шикарных и усатых,
Надежными мужьями не назвать.

Вся эта расточительность, неверность,
И барственность, черта иных веков, —
Все это ярко выйдем на поверхность,
Когда тебя сыграет Михалков!

Мы выпали из времени, чудила,
Обоих презирает большинство —
Но просто я свое опередила,
А ты уже отстал от своего!

Мы выродки, таков удел обоих,
За это я люблю тебя, свинья!
Но пьесы ведь и пишут об изгоях,
О прочих же не пишут ничего!

ПАРАТОВ *один, на авансцене.*

(На мотив “Когда б имел золотые горы”)

Ну, хороша, ей-Богу, правда!
Чего же это я стою?
Да неужели эта падла
Получит девушку мою?

Я не рожден святым-бесплотным.
Мы остаемся при своем.
Насчет жениться мы посмотрим,
Но эту свадьбу мы сорвем.

ОСТРОВСКИЙ

(подходя к нему, на мотив "У павильона Пиво-воды!")

Но что ты делаешь, Паратов?
Останься честно за дверьми!
Конечно, ты не из кастратов,
Но голос плоти ты уйми.
Уж ты не тот блестящий барин,
Что тут разнузданно царил, —
Так будь смиренно благодарен,
Что я тебя не разорил!

ПАРАТОВ

Пойми, Островский, ты писатель,
Неповоротлив, как паром,
Ты жизнь на буковки потратил —
Вот и владей себе пером.
А я, красавиц умыкая,
Играю честью и баблом!
Не родилась еще такая,
Что мне б устроила облом.

ОСТРОВСКИЙ

Хотя б задумайся, паскуда —
Нужна же пауза порой!
Ведь ты сейчас еще покуда
Не отрицательный герой.
Интригу подлую устроив,
Смотри потом не пожалей —
На отрицательных героев
Я не жалею ай-люлей!

ПАРАТОВ

Былые правила усвоив,
Ты устарел на сотню лет,
А отрицательных героев
В драматургии больше нет.
Сегодня все сложнее втрое,
Ты драматург, а не юрист,
Мы с нею сложные герои —
Пойми же это и смирись!

ОСТРОВСКИЙ

Я не слышал об этом факте —
Что упразднен бинарный мир.
Я во втором и крайнем акте
Разоблачу тебя до дыр.

ПАРАТОВ

Ты можешь взять и лопнуть даже,
Но заруби себе на лбу,
Что в наше время персонажи
Решают автора судьбу.
Чай, не двадцатое столетье!
Пересмотрели свой контракт.
Ты говоришь — явление третье,
А мы считаем, что антракт!

НАРОДНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТ

На авансцене — ОСТРОВСКИЙ (под умоляющее фортепиано).

ОСТРОВСКИЙ

Ну что же, господа, решительный момент,
Короткий перерыв, у нас дивертисмент,
И наш ангажемент, наш доблестный джаз-бенд,
Немного омрачит наш русский Ла-Ла Ленд:

Вот девица-краса, не взор, а небеса,
Не слезы, а роса, и русая коса,
Но кажется, пошла такая полоса,
Что через полчаса, увы, сомме сі, сомме са...
Ужели снова мрак, ужель надежды нет,
Ужель нельзя никак переломить сюжет,
Устроить честный брак, сформировать бюджет,
Прогнать коварных бяк, найти красивый жест!
Ведь я же вам сказал — бери, хватай, владей!
Ведь вот же полный зал достойнейших людей,
Ужели все пройдет, как жидкость в решето,
Ужели не возьмет красавицу никто?

ПЕРВЫЙ ИЗ ЗАЛА

Я бы взял, Александр Николаич,
Поведясь на посулы твои,
Но ведь жизни с такой не наладишь,
Не построишь нормальной семьи!

Мне плевать же на душу и тело,
Прожита моя первая треть,
Но хочу, чтобы в рот мне смотрела,
А она ведь не будет смотреть.

Из красавицы супа не сваришь,
Не намажешь на хлеб поутру —
Извини, сочинитель-товарищ,
Я попроще себе подберу!

ВТОРОЙ ИЗ ЗАЛА

Что говорить, я ваш фанат,
Ларису вашу мог бы взять я,
В любой момент! Но я женат!
И в этом все мое проклятье!

Конечно, девка-рафинад,
Встречаться с нею — ради Бога,

Спасенье в том, что я женат,
А незамужних очень много.

Я муки совести люблю,
Когда любовницу ласкаю,
Люблю дежурную соплю,
Что покаянно испускаю,

Люблю метаться и дрожать,
Судьбу коварную ругая,
Люблю одной принадлежать,
Чтобы всегда ждала другая,

Люблю я рваться пополам,
Но не испытывать лишений,
Порою надираться в хлам
При виде новых искушений,

Творец не может жить без драм,
Без новых клятв и нарушений, —
Не ждите от него решений.
Ведь он не быдло и не хам!

Интеллигент — такая масть,
Герой на час, отважный заяц,
Он понимает все про власть
И вечно терпит, угрызаясь.

Люблю уют постыдных благ,
Родное чувство промежутка —
Так про религию и брак
Все понимает проститутка.

Короче, если по уму,
То с миром я в любовной ссоре.
Давай, в любовницы возьму,
А остальное — ай эм сорри.

ТРЕТЬЯ ИЗ ЗАЛА *(на частушечный или фольклорный мотив)*

Я читала даже в прессе —
Только масса все поймет.
Дело в том, что в вашей пьесе
Не участвует народ.

Эта гибельная мода
Все заметнее у нас:
Строить пьесу без народа,
Без разумной гущи масс!

Без народа нет исхода,
Нет спасенья, нет пути —
Только пошлая свобода
Черт-те как себя вести!

ЦЫГАНСКИЙ ХОР *(подхватывает на мотив “Мой костер”)*

Да! В отрыве от народа
Всякий опус бестолков —
Что-то вроде перевода
С иностранных языков.

Вставьте в пьесу патриота,
Офицера, мужика,
Хоть военного кого-то,
Хоть бывалого зэка.

А помимо патриота,
Этой девке, например,
Все равно нужна работа —
Хоть водитель, хоть курьер.

ОСТРОВСКИЙ *(смущенно)*

Репертуар перебирая,
Впадая в низменную лесть,

Я замечаю, дорогая,
Что все в театре так и есть.

Я сообщаю грозной даме,
Склоняясь повинной головой,
Что так не только в русской драме,
Но, к сожаленью, в мировой.

Народ бы Фауста подправил,
Дружиться с чертом не веля,
Народ бы Гамлета прославил
И снес с престола короля,

Народ в любой любовной сцене
Готов совет героям дать,
Искусно ботая по фене
И не забыв родную мать.

Но вы же видите и сами,
Читая местную печать,
Что вы в любой серьезной драме
Предпочитаете молчать!

Любой же в зале знает цену
Любви, добра и красоты.
Вот я вас сам зову на сцену —
А вы сидите, как кроты!

В России главная отрада —
Усесться, на ногу нога,
И всех вокруг учить, как надо,
Хоть сам не можешь ни фигя!

ЛАРИСА *(утешая его)*

Островский, ну чего ты огорчаешься?
Все знали о себе всегда мы!

Ведь мы сейчас озвучили нечаянно
Сквозную тему нашей драмы.

Ведь вот она, прекрасное создание,
Влюбились бы и принц, и Гумберт,
И губят-то, по ходу, не со зла ее,
А просто потому, что губят.

Кому она нужна, такая славная,
Всех в городе своем красивей?
Какая это сила бы спасла ее,
Терпением, а может, силой?
Ведь это наше главное послание —
Короче, не родись Россией!

Никто не понимает из-за почерка:
Россия я и есть, понятно?
Конечно, я опасна и испорчена,
Но сколько же во мне таланта!

Ну просто вот любой ко мне бросается —
Банкир, гвардеец и нефтяник,
Что делать, вот такая я красавица —
Никто из вас меня не тянет!

Поэтому хорош меня пристраивать,
И толстой ножкой топтать и настаивать:
Попробую сама хоть как-то
В течение второго акта!

Второе действие

АРИЯ КАРАНДЫШЕВОЙ-МАТЕРИ

КАРАНДЫШЕВА

И что ж это за празднество — кругом одни убытки!
По мне, какая разница — какие пить напитки?
Мы пили водку — не жаловались, а этим ви на, ви на!
Пошла на них от жалованья, считай, что половина!
И главное — закуски,
Настолько не по-русски,
Жрут всяку гадость, как еврей,
Одних угрей — на сто рублей!

Ах, ни утех, ни радости — кругом одни прорехи,
И сладости все гадости — лукум, зефир, орехи!
Смотри за всеми, примечай! Когда жила при муже,
Мы пили, чай, вприкуску чай, и жили, чай, не хуже!
Сынка смутили черти —
Помешан на десерте,
И пирогов, и кренделей,
И трюфелей — на сто рублей!

И хоть невеста, Боже мой, была хотя бы в теле,
Ни рожи ей, ни кожи ей, а сколько канители!
При этом бесприданница, и грудь едва прикрыта,
Отец при этом пьяница, а мать вообще Харита.
Берем нагу, раздету,
Почтительности нету,
По мне змея — и то милей,
Одних соплей — на сто рублей.

ДУЭТ КАРАНДЫШЕВА И ПАРАТОВА

(ПАРАТОВ усердно спивает КАРАНДЫШЕВА
на мотив “С чего начинается Родина”)

ПАРАТОВ

А ну-ка, товарищ Карандышев,
Ты любишь ли русский пейзаж!
Ведь ты же, товарищ Карандышев,
Его никому не отдашь?
Давай-ка, товарищ Карандышев,
От пира ничуть не устав,
Мы выпьем с тобой за командующих,
За весь офицерский состав!

(Пьют стоя).

ПАРАТОВ

А я ведь, товарищ Карандышев,
Тебя раскусил с полпинка,
Я понял, товарищ Карандышев,
С какого ты, Юлий, полка!
Мы выпьем, товарищ Карандышев,
За звезды с натруженных плеч,
За органов наших карающих
Бессонно сверкающий меч!

(Пьют стоя).

КАРАНДЫШЕВ

А что, иногда и у бизнеса
Бывает достойный настрой,
Такие мне нравятся сызмальства,
Я сразу увидел — ты свой!
Так выпьем, товарищ, за Родину,
За службу и бизнес большой,
И богу варяжскому Одину
Поклонимся русской душой!
(Штатается, падает).

ПАРАТОВ (*обращаясь к ЛАРИСЕ, на мотив, несколько напоминающий "Надежду"*)

Будущий ваш муж, себя не помнящий,
На мое сочувствие попался,
Так что оставаться в этой комнате,
Кажется, для вас небезопасно.
Ваше примирение сомнительно,
В вашем мезальянсе мало толку —
Было бы умней, Лариса Дмитриевна,
Если б мы поехали за Волгу.

Многие, конечно, вам сказали бы,
Что не сыщешь счастья в русском Ниле.
Многие всю жизнь слезами залили,
Но никак ее не изменили.
Так вот и состарились стремительно,
Верные супружескому долгу.
Многие за жизнь, Лариса Дмитриевна,
Так и не поехали за Волгу.

Каждый сам решит, чего заслуживал.
Факты — вот, пора смотреть в глаза им.
Может быть, и есть ваш славный суженый
Этот наш сегодняшний хозяин.
Как-то не смешно, невразумительно
Жизнь отдать оципанному волку.
В общем, вам решать, Лариса Дмитриевна,
Ну, а мы поехали за Волгу.

ДУЭТ ЛАРИСЫ И ПАРАТОВА

(В ритме и духе танго)

ХОРОМ

Наконец-то, два роскошных зверя,
Мы сойдемся здесь, как мгла и мгла!

Неужели бледная тетеря
На меня рассчитывать могла?
Наконец среди простынь атласных
Разразится лучшая из драк —
Двух животных страстных и прекрасных
Ослепительный безумный брак!

ДУЭТОМ

Я твой бог!
Ты моя богиня!
Валяется у ног
Моя гордыня!
Вокруг лежит пустыня,
Город сдох,
Ты моя богиня,
Я твой бог!

Всякая любовь — грызня и схватка,
Всякая любовь — смертельный бой,
Всякая любовь грязна, но сладко
Высосать друг друга нам с тобой!
Всяческих идиллий старосветских
Истинная молодость чужда,
Требуется новейших, острых специй
Бешеная, дикая вражда!

Ты мой тигр!
Я твоя тигресса!
Какой финальный титр!
Какая пьеса!
Ни правды, ни прогресса —
Хватит игр!
Ты моя тигресса,
Я твой тигр!

Струнный перебор с цыганской чаркой,
Публика и табор — нам под стать,

Свалимся же в грязь и будем чавкать,
Рухнем же под стол и будем жрать!
Кто там говорил про жар соблазна?
Кто там лепетал про свет очей?
Пусть же будет грязно! Грязно! Грязно!
Прочно на крови, но грязь прочней.

Ты мой волк,
Я твоя волчица!
Мни меня, как шелк, —
Хочу влачиться!
Чувствую, что близко
Час услад:
Я твоя садистка,
Ты мой Сад!

(Бисируя)

Ты мой скот —
Я твоя скотина,
Ты моя брод —
Я твоя тряси́на,
Финальная картина,
Главный ход:
Я твоя скотина —
Ты мой скот!

Я твой бог,
Ты моя богиня,
Я твой тигр,
Ты моя тигресса,
Ты мой волк,
Я твоя волчица,
Я твоя скотина,
Ты мой скот!

ОГУДАЛОВА

Тут пора бы маменьке влезть в развязку драмы.
Будь дороги пряменьки — но они не прямы!
Может, так и следует действовать загубленным.
Пусть они обедают, а ты беги с возлюбленным!
Ты ему напарница, ты ему попутчица,
Убегай, Ларисонька, — может, все получится!

Пусть цыган старается, нам гитары строит!
Мы с тобой красавицы, нас никто не стоит!
Что совета спрашивать? Кто нам этот Юлий?
От папаши нашего он летел бы пулей!
Али выдать хочется за него, дебила?
Али я не женщина, али не любила?
Что нам в мире дадено? Празднуй да молися.
Пусть он дрыхнет, гадина, — убегай, Лариса!
Любишь ты Паратова — забирай Паратова,
Хочешь — на парад его, хочешь — на разврат его,
Убегай на катере от дурного глаза,
От родимой матери нет ни в чем отказа!

(ЛАРИСА убегает, мать страстно машет вслед)

АРИЯ КАРАНДЫШЕВА

(в этот момент он страшен с похмелья)

Так это вы мою невесту спрятали? Скажите-ка скорей.
А ну-ка все меня пустите к матери, к ее, а не моей!
А ну кончайте ваши издевательства и пляски на костях!
В конце концов, степенства и сиятельства, вы у меня в гостях.

Так ешьте хлеб маленького человека,
И пейте чай маленького человека,
Целуйте жену маленького человека
И в пляс пускайтесь с ней, —

Но за спиной маленького человека
Смеяться над ним не смей!
Поскольку внутри маленького человека
Таится клубок змей.

У мещанина, у писца, у будочника в ладонях вечный зуд:
У маленьких людей большое будущее, по крайней мере тут,
И выйдет так, степенства и сиятельства, что серенькая моль
В конце концов вам выдаст доказательства,
что все вы полный ноль.

Так пейте кровь маленького человека,
И жрите мозг маленького человека,
Плумясь над словарем маленького человека
И всей его душой,
Но за спиной маленького человека
Всегда стоит большой,
И он спасет маленького человека
И сделает его пашой.

И вот тогда, тогда вам мало не покажется,
вам всем настанет дно,
И вот тогда, тогда все у нас уляжется, как быть у нас должно,
И вот тогда, тогда до всех дойдет в России
за сто ближайших лет,
Что там, где доминируют большие, там счастья точно нет.

Так что лижите зад маленького человека,
Сосите нос маленького человека,
Ловите взгляд маленького человека,
Смакуйте его снесь,
И если рядом нет маленького человека,
Спешите занять,
Поскольку главный урок золотого века —
Всегда надежней медь!

(размахивая пистолетом, убегает за сцену).

ДУЭТ ЛАРИСЫ И ПАРАТОВА

ПАРАТОВ

Ну что, Лариса, мне пора:
Мы славно пошалили.
Ваш брак, намеченный вчера,
Еще покуда в силе.
Вас дома ждет семейный круг
И полный нежности супруг,
Давненько вы в отлучке!
Пора! Целую ручки.

ЛАРИСА

Мне эти глупости смешны.
Вы словно на вокзале.
Вы отнести меня должны
Туда, откуда взяли.
Под свод домашний, Боже мой,
Взойду я вашею женой
При вашей же опеке —
Иль не взойду вовеки!

ПАРАТОВ

Лариса, полно, вы о чем
Таким суровым тоном?
Порой мужчина увлечен,
Но я же вас не тронул!
Вы сами прыгнули с крыльца,
И не совсем из-под венца:
Как заявляла сводня,
Венец у вас сегодня!

ЛАРИСА

О жалкий вид! О сукин сын!
По ком моя кручина?
Паратов, вы же дворянин,

Паратов, вы мужчина!
Да, вы развратник, фат и мот,
Но не трусливый идиот,
Очнитесь, бывший витязь,
Одумайтесь, окститесь!

ПАРАТОВ

Лариса, рок неумолим.
Мой долг сильнее азарта,
А впрочем, мы поговорим
Про все про это завтра.
Я был, конечно, увлечен,
Но я, заметьте, обручен,
Благодарю за ласку,
Прошу в мою коляску!

ЛАРИСА

Я ошибалась, но увы!
Ведь хуже, чем оплошность,
Тот жанр, в котором врете вы:
Мой Бог, какая пошлость!
Была я, может, и грешна,
Но не пошла и не смешна,
Островский, сделай милость,
Чтоб это прекратилось!

Какая мерзкая овца
На месте Дон Гуана!
Влюбиться можно в подлеца
И даже в павиана,
Но нет, Островский! Перестань!
Чтоб я влюбилась в эту дрянь?
Какой исход бесовский!
Что делать мне, Островский?

(резко меняя тон).

Ах, молчи! И без всякой подсказки
Все я знаю. Ты глуп, хоть и сед.
Оцени эти блеклые краски,
Этот бледный над Волгой рассвет...
Этот край не для пылких пророчеств,
Он для горя, а не для ума.
Я сама о себе позабочусь,
О себе позабочусь сама.

Успокойся, я в Волгу не прыгну
И не брякнусь о мол головой.
Я с годами чего-то достигну,
Как проложено мне, роковой,
Только вымрет во мне все живое,
Как цветок под копытом скота,
А останется лишь роковое —
То, что люди зовут “пустота”.

Не нужны мне ни страсть и ни почесть,
Хватит ныть, наступает зима.
Я сама о себе позабочусь,
О себе позабочусь сама.
И не жди от земли урожая,
Если вытоптал землю дотла.
Вот я встану — и буду чужая.
Так и знайте, что я умерла.

(Медленно подходит к трактиру).
В трактире КНУРОВ и ВОЖЕВАТОВ.

ВОЖЕВАТОВ

Ну так что же, Мокий-то Парменьч,
Течь ли меду по усам?
Если ты сейчас ее не тронешь,
Я, пожалуй, трону сам.
Если честно, вижу по глазам уж —
Ты глядишь, как кот на мышь:

Ей теперь-то хочется не замуж,
Ей годится и в Париж.

КНУРОВ

Ты Василий, этакий Данилыч,
Может, правду говоришь.
Только сделай этакую милость —
Не тащи ее в Париж.
И не суйся на мою долю,
Не гуляй в моей степи —
Если хочешь, можем и в орлянку,
Но уж лучше уступи.

ВОЖЕВАТОВ

Нет, в орлянку лучше бы, конечно,
Лишь бы случай не подвел!
Я, конечно, маленькая решка,
Потому что вы орел.
Ну, бросайте! Надо же, готово.
Ваш орел, и нет проблем.
Я вам дал купеческое слово,
Черт бы вас побрал совсем!

ЛАРИСА

Вы что ж, мои любезные, нашли себе служанку,
Готовую, по-вашему, резвиться на цепи?
Меня вы, значит, будете разыгрывать в орлянку,
А я как бесприданница сижу себе терпи?

А я вот вас возьму и пну
Прелестною ногою!
Уж если вещью быть — ну-ну! —
То вещью дорогою!
Деритесь кто во что горазд,
Я буду с тем, кто больше даст,
На это я готова!
Парменьч, ваше слово!

КНУРОВ *(поет медленно, основательно, тяжеломерно)*

Лариса, есть серьезная причина
Вращаться в нашем избранном кругу.
Я стар, я содержательный мужчина,
Я дать вам содержание могу.

Лариса, есть такое содержание,
Превыше разговоров и стыда,
Пред коим эта нравственность баранья
Буквально отступает в никуда.

Безумие — не наша чашка чаю.
С пути меня не сдвинуть, не свернуть.
Немолод я — и долго не кончаю,
Когда уже я начал что-нибудь!

Я пылкого любовника не корчу,
На всех делах солидности печать.
Когда я говорю — все ждут, что кончу,
А я еще не думаю кончать!

Эфир, зефир, богиня, Терпсихора,
Плевали мы на сплетни и молву.
Ты думаешь, умру я очень скоро, —
А я еще тебя переживу!

ЛАРИСА *(в тон ему, речитативом)*

О Мокий, как ты душу мне терзаешь!
Мамаша-то, как истинная мать,
Всегда меня отдать хотела замуж,
А надо было Кнурову отдать!

Замужество — сомнительное дело,
Меня отныне фиг уговоришь.
Я замуж никогда и не хотела,
Хотела я не замуж, а в Париж!

Ведь ясно по моей натуре жаркой
Среди зимы российской ледяной:
Я рождена веселой содержанкой,
А не унылой мужнею женой!

Я больше никому не подконтрольна.
Я чувствую, что в наших временах
Монархия наскучила. Довольно!
Мне нужен президент, а не монарх!

Да здравствуют сменяемые власти,
Долой несовременных могикан,
Мне нравятся разнузданные страсти,
И первым будет этот старикан!

АРИЯ ЛАРИСЫ “ХОЧУ В ПАРИЖ”

Да, да, да! Я хочу в Париж.
Тут заживо сгниешь, а там сгоришь,
Простимся с вечной вьюгою, простимся с ролью жалкою,
Я стану там подругою, я стану содержанкою,
Да здравствует Париж,
А здесь не пошалишь.
Я солнечная дива
Не вашего разлива!

И да, да, да! Я хочу в Париж.
А кто в Париж не хочет? Дура лишь!
В Париже холодильники, в Париже телевизоры,
А здесь одни бухгалтеры, а здесь одни провизоры!
Да здравствует Париж,
Сплошное море крыш!
Я перед всей Европой
Вертеть там буду жопой!

И да! Да! Я хочу в Париж.
В Париже Малларме, Ван Гог, Лабиш...
Там сделки миллионные, там девки обалденные
И, слава тебе Господи, поэты безыдейные!
Да здравствует Париж!
Он радужен и рьж!
Мы перед всем Парижем
Друг друга там положим!

А что, что, что? Я хочу в Париж.
Там Кнуров будет звать меня “Малыш”,
В Париже я красавица, а здесь я бесприданница,
И страшно мне задуматься, кто здесь вообще останется!
И да, да, да! Я хочу в Париж.
Мне будет Монпарнас, а вам всем шиш —
Ни города разлатого, ни жителя понурого,
И если все получится — там можно бросить Кнурова!
Париж — моя звезда,
И я хочу туда —
Моральная калека
Серебряного века!

КАРАНДЫШЕВ *(внезапно появляясь с пистолетом, очень трезво)*

Ну что же, маски сброшены. Настало время, Ларочка,
Вам показать воочию, кто замуж вас берет,
Со всею откровенностью, поскольку наша парочка —
Российское грядущее на сотню лет вперед.

Хоть свадьба нам испачкана,
Но зря ты опечалена:
Не отпрыск я Башмачкина —
Потомок я Молчалина,
Считай, страница выдрана, закончился бардак —
Я вас, Лариса Дмитриевна, могу держать вот так!

Я все с тобой по-тихому: романс, букетик ландышев,
Из маленьких чиновников, классических зануд, —

Но я вам дам почувствовать, кто есть такой Карандышев,
Что ваше все купечество имею я вот тут!
(показывает кулак)

Хотя я виду хмурого
И несколько помятого,
Вот тут имею Кнурова,
И тут же Вожеватова,
А вашего Паратова и всю его баржу
Я до колена пятого за задницу держу!

Работа наша трудная, с повышенной вредностью,
Но ныне обозначился заслуженный успех.
Мы наше время выждали. Я из такого ведомства,
Которое поцарствовать приходит позже всех:

Сперва идут идейные,
Потом придет купечество,
А вот пришли келейные защитники Отечества,
И всех владельцев денежек, а также всех бумаг,
А также лучших девушек — пора держать вот так!

Держу и жиловатого,
Держу и тороватого,
От вашего Паратова
До Васи Вожеватова,
А кабана-то Кнурова, придиру и ханжу,
По показаньям дур его вообще вот так держу!

(чеетка КАРАНДЫШЕВА во главе невесть откуда набежавших бойцов невидимого фронта).

ОСТРОВСКИЙ

(подходя к ЛАРИСЕ, увещевательно)
Лариса, ты последняя у мамы,
А я, хоть и циничный бытовик,
Как всякий драматург в процессе драмы,
К тебе за время действия привык.

Была ты, по моей идее дерзкой,
Покуда я задумывал комедь,
Довольно-тки разнузданною девкой, —
Со временем я стал тебя жалеть.

Ты задумайся, Лариса,
Я ж тебе отец и мать, —
Этот гном не просто крыса,
Он же может и стрелять!
Он по виду чистый хоббит,
Гнивший в норке триста лет, —
Но ведь он тебя угробит!
У него же пистолет!

Он же новый, не таковский,
Не из прежних женихов, —
Так играл его Садовский,
Так играл его Мягков,
А что Яков Протазанов
Скомкал мощный мой финал, —
Так потом же был Рязанов,
Он-то верно понимал!

Где мерещится кулиса —
Там в реальности стена,
Так что вдумайся, Лариса,
И прислушайся, Лариса,
За презрение, Лариса,
Ты расплатишься сполна!

ОТВЕТ ЛАРИСЫ

(канканирует вместе с невесть откуда набежавшими красотками кабаре)

Глупа твоя гордыня,
Смешна твоя судьба —
Я, может, и рабыня,
Но все же не раба!

Карандышев, куда тебе
Прощать чего-то мне
И от такой-то матери
Спешить к такой жене!

Ударь меня, а ну-ка!
Попробуй-ка ударь!
Я, может быть, и сука,
Но все-таки не тварь!

А там, глядишь, и дети бы,
Что просят о еде!
Карандышев, ну, где тебе,
Карандышев, ну где?!

И ты меня, малютка,
Не смеешь оскорблять —
Я, может, проститутка,
Но все-таки не то, что ты думаешь!

Оставь свои старания,
Уж лучше к Богу в рай.
Карандышев, карай меня,
Карандышев, карай!

КАРАНДЫШЕВ (*один на авансцене*)

Ну вот и развязка, действительно пора.
В финале зияет черная дыра.
Не зря же мы ждали часа полтора
И целых девятнадцать лет!
Так не доставайся же ты никому!
Нажатие курка, и я тебя сниму,
Нажатие курка, и я тебя уйму.
Может, передумаешь?

ЛАРИСА

Нет!

КАРАНДЫШЕВ *(стреляя при каждом рефрене)*

Так не доставайся же ты никому,
Ни юному хлыщу, ни старому дерьму,
Ни этому купчишке, кумиру своему,
Ни берегу, ни волжской волне.
Так не доставайся же ты никому,
Ни похоти в борделе, ни скуке в терему,
И чтобы я не липнул к подолу твоему —
Прощай, не доставайся мне!

Так не доставайся же ты никому,
Ни домику в Париже, ни вилле в Крыму,
Я знаю — и в разъездах, и в собственном дому
Ты будешь устраивать бардак!
Так не доставайся же ты никому,
Как говорил Герасим своей Муму,
Так не доставайся же ты никому,
Поэтому я делаю так! *(стреляет)*.

ЛАРИСА *(канканируя на авансцене с цыганками)*

Так не доставайся же я никому!
Ни русскому уму, ни русскому ярму!
Пора моей красе и шарму моему
Пролиться, как вода в решето!
Так не доставайся же я никому,
Мечи теперь мне под ноги все деньги — не возьму,
Давай мне страшнейшие клятвы — не приму,
У вас меня не стоит никто!

Так не доставайся же я никому!
Исчезну, как Отчизна, в тумане и дыму,
Пусть Запад тащит колу, Восток несет хурму
И оба предлагают кольцо —
Меня не заслужили ни Запад, ни Восток,
Один из них расчетлив, другой из них жесток,
И пусть они вдвоем изображают восторг —
Я брошу им подарки в лицо!

Я вечно одинокая Россия-бесприданница,
И это так положено, и это так останется,
Ветер дует в парус, волны бьют в корму,
А я не достанусь никому!
Я вечно незаконная Россия-беспредельщица,
По всем широтам шарика душа моя расплещется,
Начальнику — начальница, помещику — помещица,
А я — никогда и никому!

ОБЩИЙ ХОР, *с цыганами, прихлопом и притопом*

Да! Не доставайся же я никому,
Да, не отдавайся же я никому!
Ни пасмурную Потьму, ни злую Бугульму,
Ни эту нищету, ни блеск!
Это наш потенциальный хит,
Это наш национальный быт,
Это эмоциональный взрыд,
Кульминационный всплеск!

ЛАРИСА

(на тот же разухабистый мотив, но уже в элегическом ключе)

Ах! Да! Надо было вовремя, теперь уж все равно!
Ах! Да! Навек теперь оборвано печальное кино.
Вот так, хочется-не хочется, судьба родной земли —
Она была красавица, она была молодчица, но вы не сберегли.

Безденежье, безгрошие, нет воли кораблю...
Вы люди все хорошие, и я вас всех люблю,
И меркнет взор опаловый, и на устах печать,
И Лары Огудаловой вам больше не видать!

Быть может, от лукавого, быть может — от Христа,
Была она, да канула, земля теперь пуста,
Хватает азиатчины, и праздников, и бед,
Ресурсы не растрочены и суверенитет,

От Колымы до Гатчины пространства расфигачены,
Но вот долги заплачены, и Лары больше нет.

ХОР (*во главе с Островским*)

Эх-ма, нет тебя больше, девица-душа!
Эх-ма, поле да болото, а больше ни шиша!
Эх-ма, горе без ума, фляга да шалман,
Волки да овцы, каза́ки да махновцы, поле да туман.

ОБЩАЯ АРИЯ

Летит осенний дым, процесс необратим,
Все сказано.
И сказка, и урок, и бедность, и порок —
Все связано.
Над Волгой шум дождя. Не надо ни вождя,
Ни кормчего,
Пора уже, прости, в конце произнести:
Все кончено.

Ни чистого лица, ни лучшего конца,
Ни выхода.
Отвергнуть эту слизь и честно разойтись —
Вся выгода.
Ни шири, ни высот. Борзая не спасет
И гончая —
Летит такая дичь, что глазом не постичь.
Все кончено.

Нет больше светлых снов, нет больше точных слов —
Тоска точна.
Певцы родной земли старались, как могли,
Достаточно.
И жалко языка, и смотрят облака

Уклончиво —

Но честному певцу стесняться не к лицу,
Смущаться не к лицу, смеяться не к лицу:
Все кончено.

Песня становится все тише и переходит в шелест травы, реки, дождя.

Занавес

Дмитрий Быков

Вторая смерть. Книга стихов

Проект “Вольное книгопечатание”

Издательство “Книга Сефер”, Израиль, 2022

<https://www.facebook.com/KnigaSefer>

(972)502423452

Издатель Виталий Кабаков

Оформление Андрея Бондаренко

ISBN 978-965-7288-54-2

- © Дмитрий Быков, текст, 2022
- © Андрей Бондаренко, художественное оформление и макет, 2022
- © Юрий Лев, фотография, 2022
- © Виталий Кабаков, идея и составление серии, 2022
- © Книга Сефер, издание, 2022



Жизнь — это стыд. За нее не держись.
Мало в ней было щедрот. Но в конце ведь
Будешь и эту оплакивать жизнь.
Дай оглянись, чтоб ее обесценить.

Дай мне вернуться с твоей проходной.
В реанимации час уворюю.
Чувствую, мало мне смерти одной —
Надо вторую.



9 789657 288542